

# СОЛНЦЕ ЖИВЫХ



РУССКАЯ КУЛЬТУРА

И В А Н   Ш М Е Л Ё В

**Иван Сергеевич Шмелев**  
**Солнце живых (сборник)**  
**Серия «Русская культура»**

*Текст предоставлен правообладателем*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=24947533](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24947533)*  
*Солнце живых / И. С. Шмелёв ; [поел. В. И. Мельника]. – Изд. 4-е.:  
ДАРЪ; Москва; 2013  
ISBN 978-5-485-00434-7*

**Аннотация**

В книгу вошли такие проникнутые необычайной поэзией произведения И.С. Шмелева, как «Богомолье», «Неупиваемая чаша» и «Росстани». Все они – о смысле человеческой жизни, о невозможности ее без Бога, без света, красоты. В каждом герое – пусть и грешном – зернышко святости. Каждый дорог Богу, не покинут Им, а значит, дорог и автору. Отсюда необычайное даже для русской литературы тепло, исходящее от книги.

# Содержание

Богомолье	5
Царский золотой	5
Сборы	25
Москвой	39
Богомольный садик	54
На святой дороге	70
На святой дороге	86
У Креста	101
Конец ознакомительного фрагмента.	107

# **Иван Шмелёв**

## **Солнце живых**

Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Православной Церкви № ИС 10-08-0845

Автор послесловия В. И. Мельник

© Издательство «ДАРЪ», 2005

# Богомолье

*Священной памяти  
короля Югославии Александра I<sup>1</sup>  
благоговейно посвящает автор*

*О, вы, напоминающие о Господе! не умолкайте.  
(Ис. 62, 6)*

## Царский золотой

Петровки, самый разгар работ, – и отец целый день на стройках. Приказчик Василь Василин и не ночует дома, а все в артелях. Горкин свое уже отслужил – «на покое», – и его тревожат только в особых случаях, когда требуется свой глаз. Работы у нас большие, с какой-то «неустойкой»: не кончишь к сроку – можно и прогореть. Спрашиваю у Горкина: «Это что же такое – прогореть?»

– А вот скинут последнюю рубаху – вот те и прогорел! Как прогорают-то... очень просто.

А с народом совсем беда: к покосу бегут домой, в деревню, и самые-то золотые руки. Отец страшно озабочен, спе-

---

<sup>1</sup> Александр I Карагеоргиевич (1888–1934) – король Югославии. Симпатизировал и широко помогал русским эмигрантам. Был убит террористом, представителем фашистской организации хорватов-националистов.

шит-спешит, летний его пиджак весь мокрый, пошли жары, Кавказка все ноги отмотала по постройкам, с утра до вечера не расседлана. Слышишь – отец кричит:

– Полуторное плати, только попридержи народ! Вот бедовый народишка... рядились, черти, – обещались не уходить к покосу, а у нас неустойки тысячные... Да не в деньгах дело, а себя уроним. Вбей ты им, дуракам, в башку... втрое ведь у меня получают, чем со своих покосов!

– Вбивал-с, всю глотку оборвал с ними... – разводит беспомощно руками Василь Василии, заметно похудевший, – ничего с ими не поделаешь, со спокон веку так. И сами понимают, а... гулянки им будто, травкой побаловаться. Как к покосу – уж тут никакими калачами не удержать, бегут. Воротятся – приналягут, а куда сбродных попринайдем. Как можно-с, к сроку должны поспеть, будь покойны-с, уж догляжу.

То же говорит и Горкин – а он все знает: покос – дело душевное, нельзя иначе, со спокон веку так; на травке поотдохнут – нагонят.

Ранним утром, солнце чуть над сараями, а у крыльца уже шарабан. Отец сбегает по лестнице, жуя на ходу калачик, прыгает на подножку, а тут и Горкин, чего-то ему надо.

– Что тебе еще?.. – спрашивает отец тревожно, раздраженно. – Какой еще незалад?

– Да все, слава Богу, ничего. А вот хочу вот к Сергию Преподобному сходить помолиться, по обещанию... взад-назад.

Отец бьет вожжей Чалого и дергает на себя. Чалый взбрыкивает и крепко сечет по камню.

– Ты еще... с пустяками! Так вот тебе в самую горячку и приспичило. Помрешь – до Успенья погодишь?..

Отец замахивается вожжей – вот-вот укатит.

– Это не пустяки, к Преподобному сходить помолиться... – говорит Горкин с укоризной, выпрастывая запутавшийся в вожже хвост Чалого. – Теплую бы пору захватить. А с Успенья ночи холодные пойдут, дожди... уж нескладно итить-то будет. Сколько вот годов все собираюсь...

– А я тебя держу? Поезжай по машине, в два дня упрaviшься. Сам понимаешь, время горячее, самые дела, а... как я тут без тебя? Да еще, не дай Бог, Косой запьянствует?..

– Господь милостив, не запьянствует... он к зиме больше прошибается. А всех делов, Сергей Иванович, не переделаешь. И годы мои такие, и...

– А, помирать собрался?

– Помирать – не помирать, это уж Божья воля, а... как говорится, делов-то пуды, а *она* – туды!

– Как? Кто?.. Куды – туды?.. – спрашивает с раздражением отец, замахиваясь вожжей.

– Известно – кто. *Она* ждать не станет – дела ли, не дела ли, – а все покончит.

Отец смотрит на Горкина, на распахнутые ворота, которые придерживает дворник, прикусывает усы.

– Чудак... – говорит он негромко, будто на Чалого, машет

рукой чему-то и выезжает шагом на улицу.

Горкин идет расстроенный, кричит на меня в сердцах: «Тебе говорю, отстань ты от меня, ради Христа!» Но я не могу отстать. Он идет под навес, где работают столяры, отшвыривает ногой стружку и чурбачки и опять кричит на меня: «Ну, чего ты пристал?..» Кричит и на столяров чего-то и уходит к себе в каморку. Я бегу в тупичок к забору, где у него окошко, сажусь снаружи на облицовку и спрашиваю все то же: возьмет ли меня с собой. Он разбирается в сундучке, под крышкой которого наклеена картинка «Троице-Сергиева Лавра», лопнувшая по щелкам и полинявшая. Разбирается и ворчит:

– Не-эт, меня не удержите... к Серги-Троице я уйду, к Преподобному... уйду. Все я да я... и без меня управитесь. И Ондрюшка меня заступит, и Степан справится... по филенкам-то приглядеть, велико дело! А по подрядам сновать – прошла моя пора. Косой не запьянствует, нечего бояться... коли дал мне слово-зарок – из уважения соблюдет. Как раз самая пора, теплынь, народу теперь по всем дорогам... Не-эт, меня не удержите.

– А меня-то... обещался ты, а?.. – спрашиваю я его и чувствую горько-горько, что меня-то уж ни за что не пустят. – А меня-то пустят меня с тобой, а?..

Он даже и не глядит на меня, все разбирается.

– Пустят тебя, не пустят... это не мое дело, а я все равно уйду. Не-эт, не удержите... всех, брат, делов не переделаешь,



не-эт... им и конца не будет. Пять годов, как Мартына схоронили, все собираюсь, собираюсь... Царица Небесная как меня сохранила, — показывает Горкин на темную иконку, которую я знаю, — як Иверской сорок раз сходить пообещался, и то не доходил, осьмнадцать ходов за мной. И Преподобному тогда пообещался. Меня тогда и Мартын просил-помирал, на Пасхе как раз пять годов вышло вот: «Помолись за меня, Миша... сходи к Преподобному». Сам так и не собрался, помер. А тоже обещался, за грех...

— А за какой грех, скажи... — упрасиваю я Горкина, но он не слушает.

Он вынимает из сундучка рубаху, полотенце, холщовые портянки, большой привязной мешок, заплечный.

— Это вот возьму, и это возьму... две сменки, да... И еще рубаху, расхожую, и причащальную возьму, а ту на дорогу, про запас. А тут, значит, у меня сухарики... — пошумливает он мешочком, как сахарком, — с чайком попить — пососать, дорога-то дальная. Тут, стало быть, у меня чай-сахар... — сует он в мешок коробку из-под икры с выдавленной на крышке рыбкой, — а лимончик уж на ходу прихвачу, да... ножичек, поминанье... — сует он книжечку с вытесненным на ней золотым крестиком, которую я тоже знаю, с раскрашенными картинками, как исходит душа из тела и как она ходит по мытарствам, а за ней светлый Ангел, а внизу, в красных языках пламени, зеленые нечистые духи с вилами. — А это вот, за кого просвирки вынуть, леестрик... все по череду надо. А

это Сανε Юрцову вареньица баночку снесу, в квасной послушание теперь несет, у Преподобного, в монахи готовится... от Москвы, скажу, поклончик-гостинчик. Бараночек возьму на дорожку...

У меня душа разрывается, а он говорит и говорит и все укладывает в мешок. Что бы ему сказать такое?..

– Горкин... а как тебя Царица Небесная сохранила, скажи?.. – спрашиваю я сквозь слезы, хотя все знаю.

Он поднимает голову и говорит нестрого:

– Хлюпаешь-то чего? Ну, сохранила... я тебе не раз сказывал. На вот, утрись полотенчиком... дешевые у тебя слезы. Ну, ломали мы дом на Пресне... ну, нашел я на чердаке старую иконку, ту вон... Ну, сошел я с чердака, стою на втором ярусу... дай, думаю, пооботру-погляжу, какая Царица Небесная, лика-то не видать. Только покрестился, локотком потереть хотел... ка-ак загремит все... ни-чего уж не помню, взвило меня в пыль!.. Очнулся в самом низу, в бревнах, в досках, все покорежено... а над самой над головой у меня – здоровенная балка застряла! В плюшку бы меня прямо!.. Вот какая. А робята наши, значит, кличут меня, слышу: «Панкратыч, жив ли?» А на руке у меня – Царица Небесная! Как держал, так и... чисто на крылах опустило. И не оцарапало нигде, ни царапинки, ни синячка... вот ты чего подумай! А это стену неладно покачнули – балки из гнезд-то и вышли, концы-то у них сгнили... как ухнут, так все и проломили, накаты все. Два яруса летел с хламом... вот ты чего подумай!

Эту иконку – я знаю – Горкин хочет положить с собой в гроб – душе чтобы во спасение. И все я знаю в его каморке: и картинку «Страшного Суда» на стенке, с геенной огненной, и «Хождения по мытарствам преподобной Феодоры», и найденный где-то на работах, на сгнившем гробе, медный, литой, очень старинный крест с «Адамовой главой», страшной... и пасочницу Мартына-плотника, вырезанную одним топориком. Над деревянной кроватью с подпалинами от свечки, как жгли клопов, стоят на полочке, к образам, совсем уже серые от пыли просвирки из Иерусалима-града и с Афона, принесенные ему добрыми людьми, и пузырьчики с напетым маслицем, с вылитыми на них угодничками. Недавно Горкин мне мазал зуб, и стало гораздо легче.

– А ты мне про Мартына все обещался... топорик-то у тебя висит вон! С ним какое чудо было, а? Скажи-и, Горкин!..

Горкин уже не строгий. Он откладывает мешок, садится ко мне на подоконник и жестким пальцем смазывает мои слезинки.

– Ну, чего ты расстроился, а? Что ухожу-то... На доброе дело ухожу, никак нельзя. Вырастешь – поймешь. Самое душевное это дело, на богомолье сходить. И за Мартына помолюсь, и за тебя, милок, просвирку выну, на свечку подам, хороший бы ты был, здоровье бы те Господь дал. Ну, куда тебе со мной тягаться, дорога дальняя, тебе не дойти... по машине вот можно, с папашенькой соберешься. Как так я тебе обещался... я тебе не обещался. Ну, пошутил, может...

– Обещался ты, обещался... тебя Бог накажет! Вот посмотри, тебя Бог накажет!... – кричу я ему и плачу и даже грожу пальцем.

Он смеется, прихватывает меня за плечи, хочет защекотать.

– Ну что ты какой настойный, самондравный! Ну, ладно, шуметь-то рано. Может, так Господь повернет, что и покажем с тобой по дорожке по столбовой... а что ты думаешь! Папашенька добрый, я его вот как знаю. Да ты погоди, послушай: расскажу тебе про нашего Мартына. Всего не расскажешь... а вот слушай. Чего сам он мне сказывал, а потом на моих глазах все было. И все сущая правда.

– Повел его отец в Москву на работу... – поокивает Горкин мягко, как все наши плотники, володимирцы и костромичи, и это мне очень нравится, ласково так выходит. – Плотники они были, как и я вот, с нашей стороны.

Всем нам одна дорожка, на Сергиев Посад. К Преподобному зашли... чугулки тогда и помину не было. Ну, зашли, все честь честью... помолились-приложились, недельку Преподобному пороботали топориком, на монастырь, да... пошли к Черниговской, неподалечку, старец там проживал – спасался. Нонче отец Варнава там народ утешает – басловляет, а то до него был, тоже хороший такой, прозорливец. Вот тот старец басловил их на хорошую работку и говорит пареньку, Мартыну-то:

«Будет тебе талан от Бога, только не проступись!»

Значит – правильно живи, смотри. И еще ему так сказал:

«Ко мне-то побывай когда».

Роботали они хорошо, удачливо, талан у Мартына великой стал, такой глаз верный, рука надежная... лучшего плотника и не видал я. И по столярному хорошо умел. Ну, понятно, и по филёнкам чистяга был, лучше меня, пожалуй. Да уж я те говорю – лучше меня, значит, лучше, ты не перебивай. Ну, отец у него помер давно, он один и стал в людях; сирота. К нам-то, к дедушке твоему покойному, Ивану Ивановичу, царство небесное, он много после пристал – порядился, а все по разным ходил – не уживался. Ну, вот слушай. Талан ему был от Бога... а он, темный-то... – понимаешь, кто? – свое ему, значит, приложил: выучился Мартын пьянствовать. Ну, его со всех местов и гоняли. Ну, пришел к нам роботать, я его маленько поудержал, поразговорил душевно – ровесники мы с ним были. Разговорились мы с ним, про старца он мне и помянул. Велел я ему к старцу тому побывать. А он и думать забыл, сколько годов прошло. Ну, побывал он, ан – старец-то тот и помер уж, годов десять уж. Он и расстроился, Мартын-то, что не побывал-то, наказу его-то не послушал... совестью и расстроился. И с того дела к другому старцу и не пошел, а, прямо тебе сказать, в кабак пошел! И пришел он к нам назад в одной рваной рубашке, стыд глядеть... босой, топорик только при нем. Он без того топорика не мог быть. Топорик тот от старца благословён... вон он самый, висит-то

у меня, память это от него мне, отказан. Уж как он его не пропил, как его не отняли у него – не скажу. При дедушке твоём было. Хотел Иван Иванович его не принимать, а прабабушка твоя Устинья вышла с лестовкой...<sup>2</sup>, молилась она все, правильная была по вере... и говорит:

«Возьми, Ваня, грешника, приюти... его Господь к нам послал».

Ну, взял. А она Мартына лестовкой поучила для виду, будто за наказание. Он три года и в рот не брал. Что получит – к ней принесет, за образа клала. Много накопил. Подошло ему опять пить, она ему денег не дает. Как разживется – все и пропьет. Стало его бесовать, мы его запирали. А то убить мог. Топор держит, не подступись. Боялся – топор у него покрадут, талан его пропадет. Раз в три года у него болезнь такая нападала. Запрем его – он зубами скрипит, будто щепу дерет, страшно глядеть. Силищи был невиданной... балки один носил, росту – саженный был. Боимся – ну, с топором убежит! А бабушка Устинья войдет к нему, погрозится лестовкой, скажет: «Мартынушка, отдай топорик, я его схорю!» – он ей покорно в руки, вот как.

Накопил денег, дом хороший в деревне себе построил, сестра у него жила с племянниками. А сам вдовый был, бездетный. Ну, жил и жил, с перемогами. Тройное получал! А теперь слушай про его будто грех...

Годов шесть тому было. Роботал и мы по храму Христа

---

<sup>2</sup> Лестовка – кожаные четки.

Спасителя, от больших подрядчиков. Каменный он весь, а и нашей роботки там много было... помосты там, леса ставили, переводы-подводы, то, се... обшивочки, и под кумполом много было всякого подмостья. Приехал государь поглядеть, спорные были переделки. В семьдесят в третьем, что ли, годе, в августе месяце, тёпло еще было. Ну, все подрядчики, по такому случаю, артели выставили, показаться государю, Царю-Освободителю, Лександре Николаичу нашему. Приодели робят в чистое во все. И мы с другими, большая наша была артель, видный такой народ... худого не скажу, всегда хорошие у нас харчи были, каши не поедали – отваливались. Вот государь посмотрел всю отделку, доволен остался. Выходит с провожатыми, со всеми генералами и князьями. И наш, стало быть, Владимир Ондреич, князь Долгоруков, с ними, генерал-губернатор. Очень его государь жаловал. И наш еще Лександра Лександрыч Козлов, самый обер-польцмейстер, бравый такой, длиннныи усы, хвостами, хороший человек, зря никого не обижал. Ну, которые начальство при постройке – показывают робят, рабочий народ. Государь поздоровался, покивал, да... сияние от него такое, всякие медали...

«Спасибо, – говорит, – молодцы».

Ну, «ура» покричали, хорошо. К нам подходит. А Мартын первый с краю стоял, высокий, в розовой рубахе новой, борода седая, по сех пор, хороший такой ликом, благочестивый. Государь и приостановился, пондравился ему, стало быть,

наш Мартын. Хорош, говорит, старик... самый русской! А Козлов-то князю Долгорукову и доложи:

«Может государю его величеству глаз свой доказать, чего ни у кого нет».

А он, стало быть, про Мартына знал. Ро-ботали мы в доме генерала-губернатора, на Тверской, против каланчи, и Мартын князю-то секрет свой и доказал. А по тому секрету звали Мартына так: «Мартын, покажи аршин!» А вот слушай. Вот князь и скажи государю, что так, мол, и так, может удивить. Па-пашенька перепугался за Мартына, и все-то мы забоялись – а ну прощтрафится! А уж слух про него государю донесен, не шутки шутить. Вызывают, стало быть, Мартына. Государь ему и говорит, ничего, ласково:

«Покажи нам свой секрет».

«Могу, – говорит, – ваше царское величество... – Мартын-то, – дозволейте мне речку».

И не боится. Ну, дали ему речку.

«Извольте проверить, – говорит, – никаких помет нету».

Генералы проверили – нет помет. Ну, положил он речку ту, гладенькую, в полвершочка шириной, на доски, топорик свой взял. Все его обступили, и государь над ним встал... Мартын и говорит:

«Только бы мне никто не помешал, под руку не смотрел... рука бы не заробела».

Велел государь маленько пораздаться, не наседать. Перекрестился Мартын, на руки поплевал, на речку приглядел-



ся, не дотронулся, ни-ни... а только так вот над ней пядью помо-тал-помотал, привесился... – р-раз топориком! – мету и положил, отсек.

«Извольте, – говорит, – смерить, ваше величество».

Смерили аршинником клейменым – как влитой! Государь даже плечиками вскинул. «Погодите», – говорит Мартын-то наш. Провел опять пядью над обрезком – раз, раз, раз! – четыре четверти проложил-поставил. Смерили – ни на волосок прошибки! И вершочки, говорит, могу. И проложил. Могу, говорит, и до восьмушек. Государь взял аршинник его, подержал время...

«Отнесите, – говорит, – ко мне в покои сию диковинку и запишите в царскую мою книгу бесприменно!»

Похвалил Мартына и дал ему из кармана в брюках собственный золотой! Мартын тут его и поцеловал, золотой тот. Ну, тут ему наклали князья и генералы, кто целковый, кто треш-ну, кто четвертак... попиروвали мы. А Мартын золотой тот царский под икону положил, навеки.

Ну, хорошо. Год не пил. И опять на него нашло. Ну, мы от него все поотобрали, а его заперли. Ночью он таки сбег. С месяц пропадал – пришел. Полез я под его образа глядеть – золотого-то царского и нет, пропил! Стали мы его корить: «Царскую милость пропил!»

Он божится: не может того быть! Не помнит: пьяный, понятно, был. Пропил и пропил. С того сроку он и пить кончил. Станем его дражнить: «Царский золотой пропил, дока-

зал свой аршин!»

Он прямо побелеет, как не в себе.

«Креста не могу пропить, так и против царского дару не проступлюсь!»

Помнил, чего ему старец наказывал – не проступись! А вышло-то – проступился будто. Ему не верят, а он на своем стоит. Грех какой! Ладно. Долго все тебе сказывать, другой раз много расскажу. И вот простудился он на ердани, закупался с немцем с одним, – я потом тебе расскажу. Три месяца болел. На Великую Субботу мне и шепчет:

«Помру, Миша... старец-то тот уж позвал меня... – что ж, говорит, Мартынушка, не побываешь?» Во сне ему, стало быть, привиделся. «Дай-ка ты мне царский золотой... – говорит, – он у меня схоронён... а где – не могу сказать, затмение во мне, а он цел. Поищи ты, ради Христа, хочу поглядеть, порадоваться – вспомнать».

И слова уж путает, затмение на нем. «Я, – говорит, – от себя в душу схоронил тогда... не может того быть, цел невредимо».

Это к тому он – не пропил, стало быть. Сказал я папашеньке, а он пошел к себе и выносит мне золотой. Велел Мартыну дать, будто нашли его, не тревожился чтобы уж для смерти. Дал я ему и говорю:

«Верно сказывал, сыскался твой золотой».

Так он как же возрадовался – заплакал! Поцеловал золотой и в руке зажал. Соборовали его, а он и не разжимает ру-

ку-то, кулаком, вот так вот, с ним и крестился, с золотым-то, рукой его уж я сам водил. На третий день Пасхи помер хорошо, честь честью. Вспомнили про золотой, стали отымать, а не разожмешь, никак! Уж долотом развернули, пальцы-то. А он прямо скипелся, влип в самую долонь, в середку, как в воск, закрайшков уж не видно. Выковырили мы, подняли... а в руке-то у него, на самой на долони, – орел! Так и врезан, синий, отчетливый... царская самая печать. Так и не растаял, не разошелся, будто печать приложёна, природная. Так мы его и похоронили, орленого. А золотой тот папашенька на сорокоуст подать приказал, на помин души. Хорошо... Что ж ты думаешь!.. Через год случилось: стали мы полы в спальнях перестилать – и что ж ты думаешь!.. Под его изголовьем, где у него образок стоял... доски-то как подняли... на накате на черном... *тот* самый золотой лежит-светит!.. а?! Самый тот, царский, новешенькой-разновешенькой! Все сразу и признали. То ли он его обронил, как с-под иконы-то тащил пропивать, себя не помнил... то ли и вправду от себя спрятал, в щель на накат спустил... «в душу-то от себя схоронил», сказывал мне тогда, помирал... Тут уж он перед всеми и оправдался: не преступился, вот! И все так мы обрадовались, панихиду с певчими по нем служили... хорошо было, весело так, «Христос Воскресе» пели, как раз на Фоминой вышло-то. Подали тот золотой папашеньке... подержал-подержал...

«Отдать, – говорит, – его на церкву, на сорокоуст! Пус-

кай, – говорит, – по народу ходит, а не лежит занапрасно... это, – говорит, – золотой счастливый, непропащий!»

Так мне его желалось обменять, для памяти! Да подумал – пушай его по народу ходит, верно... зарочный он, не простой. И отдали. Так вот теперь и ходит по народу, нечуемо. Ну, как же его узнаешь... нельзя узнать. Вот те и рассказал. Вот, значит, и пойду к Преподобному, зарок исполню, Мартына помяну... Ну, вот... и опять захлюпал! А ты постой, чего я тебе ска-жу-то...

Я неутешно плачу. Жалко мне и Мартына, что он помер... так жалко! И что того золотого не узнаю, и что Горкин один уходит...

Приезжает отец – что-то сегодня рано, – кричит весело на дворе: «Горкин-старина!» Горкин бежит проворно, и они долго прохаживаются по двору. Отец веселый, похлопывает Горкина по спине, свистит и щелкает. Что-нибудь радостное случилось? И Горкин повеселел, что-то все головой мотает, трясет бородкой, и лицо ясное, довольное. Отец кричит со двора на кухню:

– Все к ботвинье, да поживей! Там у меня в кулечке, разберите!..

И обед сегодня особенный. Только сели, отец закричал в окошко:

– Горка-старина, иди с нами ботвинью есть! Ну-ну, мало что ты обедал, а ботвинья с белорыбицей не каждый день... не церемонься!

Да, обед сегодня особенный: сидит и Горкин, пиджачок надел свежий и голову намаслил. И для него удивительно, почему это его позвали: так бывает только в большие праздники. Он спрашивает отца, конфузливо потягивая бородку:

– Это на знак чего же... парад-то мне?

– А вот понравился ты мне! – весело говорит отец.

– Я уж давно пондравился... – смеется Горкин, – а хозяин велит – отказываться грех.

– Ну, вот и ешь белорыбицу.

Отец необыкновенно весел. Может быть, потому, что сегодня, впервые за столько лет, распустился белый, душистый такой, цветочек на апельсинном деревце, его любимом?

Я так обрадовался, когда перед обедом отец кликнул меня из залы, схватил под мышки, поднес к цветочку и говорит: «Ну нюхай, нюня!»

И стол веселый. Отец сам всегда делает ботвинью. Вокруг фаянсовой, белой, с голубыми закраинками миски стоят тарелочки, и на них все веселое: зеленая горка мелко нарезанного луку, темно-зеленая горка душистого укропу, золотенькая горка толченой апельсинной цедры, белая горка струганого хрена, буро-зеленая – с ботвиньей, стопочка тоненьких кружочков, с зернышками, – свежие огурцы, мисочки льду хрустального, глыба белуги, в крупках, выпирающая горбом в разводах, лоскуты нежной белорыбицы, сочной и розовато-бледной, пленочки золотистого балычка с краснинкой. Все это пахнет по-своему, вязко, свежо и остро, наполняет

всю комнату и сливается в то чудесное, которое именуется – ботвинья. Отец, засучив крепкие манжеты в крупных золотых запонках, весело все размешивает в миске, бухает из графина квас, шипит пузырьками пена. Жара: ботвинья теперь – как раз.

Все едят весело, похрустывая огурчиками, хрящами – хру-хру. Обсасывая с усов ботвинью, отец все чего-то улыбается... чему-то улыбается?

– Так... к Преподобному думаешь? – спрашивает он Горкина.

– Желается потрудиться... давно собираюсь... – смиренно-ласково отвечает Горкин, – как скажете... ежели дела дозволят.

– Да, как это ты давеча?.. – посмеивается отец. – «Делов-то пуды, а она – туды»?! Это ты правильно, мудрователь. Ешь, брат, ботвинью, ешь – не тужи, крепки еще гужи! Так когда же думаешь к Троице, в четверг, что ли, а? В четверг выйдешь – в субботу ко всенощной поспеешь.

– Надо бы поспеть. С Москвой считать, семь десятков верст... к вечерням можно поспеть и не торопиться... – говорит Горкин, будто уже они решили.

У меня расплывается в глазах: ширится графин с квасом, ширятся-растекаются тарелки, и прозрачные, водянистые узоры текут на меня волнами. Отец подымает мне подбородок пальцем и говорит:

– Чего это ты нюнишь? С хрену, что ль? Корочку понюхай.

Мне делается еще больней. Чего они надо мной смеются! Горкин – и тот смеется. Гляжу на него сквозь слезы, а он подмаргивает, слышу – толкает меня в ногу.

– Может, и мы подведем... – говорит отец, – давно я не был у Троицы.

– Вот, хорошее дело, помолитесь... – говорит Горкин радостно.

– Мы-то по машине, а его уж... – глядит на меня отец, прищурясь, – Бог с ним, бери с собой... пускай потрудится. С тобой отпустить можно.

Верить – не верить?..

– Уж будьте покойны, со мной не пропадет... радость-то ему какая! – радостно отвечает Горкин и опять растекается у меня в глазах. Но это уже другие слезы.

– Ну, пусть так и будет. И Антипа с вами отпускаю... Кривую на подмогу, потащится. Устанет – поприсядет. Верно, брат... всех делов не переделаешь. И передохнуть надо...

Верить – не верить?.. Я знаю: отец любит обрадовать.

Горкин моргает мне, будто хочет сказать, как давеча:

«А что я те сказал! Папашенька добрый, я его вот как знаю!..»

Так вот о чем они говорили на дворе! И оттого стал веселый Горкин? И почему это так случилось?..

Я что-то понимаю, но не совсем. И почему все отец смеется, встряхивает хохлом и повторяет:

«Всех делов, брат, не переделаешь... верно! Делов-то пу-

ды, а *она* – туды!...»

Кто же это – *она*?..

Я что-то понимаю, но не совсем.



# Сборы

И на дворе, и по всей даже улице известно, что мы идем к Сергию Преподобному, пешком. Все завидуют, говорят: «Эх, и я бы за вами увязался, да не на кого Москву оставить!» Все теперь здесь мне скучно, и так мне жалко, что не все идут с нами к Троице. Наши поедут по машине, но это совсем не то. Горкин так и сказал:

– Эка, какая хитрость, по машине... а ты потрудишься Угоднику, для души! И с машины – чего увидишь? А мы пойдем себе полегонечку, с лесочка на лесочек, по тропочкам, по лужкам, по деревенькам, – всего увидим. Захотел отдохнуть – присел. А кругом все народ крещеный, идет-идет. А теперь земляника самая, всякие цветы, птички тебе поют... с машиной не поравнять никак.

Антипушка тоже собирается, ладит себе мешочек. Он сидит на овсе в конюшне, возится с сапогом. Показывает каблук, как хорошо набил.

– Я в сапогах пойду, как уж нога обыкла, – говорит он весело и все любит сапогом, как починил-то знатно. – Другие там лапти обувают, а то чуни для мягкости... а это для ноги один вред, кто непривычен. Кто в чем ходит – в том и иди. Ну, который человек лапти носит, ну... ему не годится в сапогах, ногу себе набьет. А который в сапогах – иди в сапогах. И Панкратыч в сапогах идет, и я в сапогах пой-

ду, и ты ступай в сапожках, в расхожих самых. А новенькие уж там обуешь, там щегольнешь. Какое тебе папашенька уважение-то сделал... Кривую отпускает с нами! Как-никак, а уж доберешься. Это Горкин все за тебя старался – уж пустите с нами, уж доглядим, больно с нами идти охота. Вот и пустил. Больно парень-то ты артельный... А с машины чего увидишь!

– Это не хитро, по машине! – повторяю я с гордостью, и в ногах у меня звенит. – И Угоднику потрудиться, правда?

– Как можно! Он как трудился-то... тоже, говорят, плотничал, церкви строил. Понятно, ему приятно. Вот и пойдем.

Он укладывает в мешок «всю сбрую»: две рубахи – расхожую и парадную, новенькие портянки, то, се. Я его спрашиваю:

– А ты собираешься помирать? У тебя есть смёртная рубаха?

– Это почему же мне помирать-то, чего вздумал! – говорит он, смеясь. – Мне и всего-то на седьмой десяток восьмой год пошел. Это ты к чему же?

– А... у Горкина смёртная рубаха есть, и ее прихватывает в дорогу. Мало ли... в животе Бог... Как это?..

– А-а... вот ты к чему, ловкий какой... – смеется Антипушка на меня. – Да, в животе и смерти один Господь Бог во лён, говорится. И у меня найдется похорониться в чем. У меня тоже рубаха неплохая, у Троицы надену, для причащения-приобщения, приведет Господь. А когда помереть кому

– это один Господь может знать. Ты вон намедни мне отчитал избасню Крылову... как дуб-то вон сломило в грозу, а соломинке ничего!..

– Не соломинка – «Трость» называется!

– Это все равно. Тростинка, соломинка... Так и с каждым человеком может быть. Ну, еще чего отчитай, избасню какую.

Я говорю ему быстро-быстро «Стрекоза и муравей» – и прыгаю. Он вдруг и говорит:

– Очень-то не пляши, напляшешь еще чего... ну-ка отдумают?..

Это нарочно он – попугать. Очень-то радоваться нельзя, я знаю: плакать бы не пришлось! Но будто и он боится: как бы не передумали. Утром он сказал Горкину: «Выбраться бы уж скорей, задержки бы какой не вышло». А ноги так и зудят, не терпится. Не было бы дождя?.. Антипушка говорит, что дождю не должно бы быть – мухи гуляют весело, в конюшню не набиваются, и сегодня утром большая была роса в саду. И куры не обираются, и Бушуй не ложится на спину и не трется к дождю от блох. И все говорят, что погода теперь установилась, самая-то пора идти.

Господи, и Кривая с нами! Я забираюсь в денник, к Кривой, пролезаю под ее брюхом, а она только фыркает, привыкла. Спрашиваю ее в зрячий глаз, рада ли, что пойдет с нами к Преподобному. Она подымает ухо, шлепает мокрыми губами, на которых уже седые волосы, и тихо фырчит-фырчит –

рада, значит. Пахнет жеваным теплым овсецом, молочным, – так сладко пахнет! Она обнюхивает меня, прихватывает губами за волосы – играет так. В черно-зеркальном ее глазу я вижу маленького себя, решетчатое оконце стойла и голубка за мною.

Я пою ей недавно выученный стишок: «Ну, тащися, сивка, пашней-десятиной... красавица-зорька в небе загорелась...» Пою и похлопываю под губы – ну, тащися, сивка!.. А сам уже далеко отсюда. Идем по лужкам-полям, по тропочкам, по лесочкам... много крещеного народу. «Красавица-зорька в небе загорелась, из большого леса солнышко выходит...»

Ну, тащися, сивка!..

– Ну и затейник ты... – говорит Антипушка, – за-тейник!.. С тобой нам не скушно идти будет.

– Горкин говорит... молитвы всякие петь будем! – говорю я. – Так заведёно уж, молитвы петь... компанией, правда? А Преподобный будет рад, что и Кривая с нами, а? Ему будет приятно, а?..

– Ничего. Он тоже, поди, с лошадами хозяйствовал. Он и медведю радовался, медведь к нему хаживал... Он ему хлебца корочку выносил. Придет, встанет к сторонке под елку... и дожидается – покорми-и-и! Покормит. Вот и ко мне крыса ходит, не боится. Я и Ваську обучил, не трогает. В овес его положу, а ей свистну.

Она выйдет с-под полу, а он только ухи торчком, жесткий станет весь, подрагивает, а ничего. А крыса тоже на лапки встает, нюхается. И пойдет овес собирать. Лаской и зверя возьмешь, доверится.

Зовет Горкин:

– Скорей, папашенька под сараем, повозку выбираем!

Мелькает белый пиджак отца. Под навесом, где сложены сани и стоят всякие телеги, отец выбирает с Горкиным, что нам дать. Он советует легкий тарантасик, но Горкин настаивает, что в тележке куда спокойней, можно и полежать, и беседочку заплести от солнышка, натывать березок-елок, – и указывает легонькую совсем тележку – «как перышко!».

– Вот чего нам подходит. Сенца настелим, дерюжкой какой накроем – прямо тебе хоромы. И Кривой полегче, горошком за ней покатится.

Эту тележку я знаю хорошо. Она меньше других и вся в узорах. И грядки у ней, и подуги, и передок, и задок – все разделано тонкою резьбою: солнышками, колесиками, елочками, звездочками и разной затейной штучкой. Она ездила еще с дедушкой куда-то за Воронеж, где казаки, – красный товар возила. Отец говорит – стара. Да что-то ему и жалко. Горкин держится за тележку, говорит, что ей ничего не сделается: выстоялась и вся в исправности, только вот замочит колеса. На ней и годов не видно, и лучше новой.

– А не рассыплется? – спрашивает отец и встряхивает, бе-

рет под задок тележку. — Звонко поедете.

— Верно, что зазвониста, суховата. А легкая-то зато кака, горошком так и покатится.

И Антипушка тоже хвалит: береза, обстоялась, ее хошь с горы кидай. И Кривой будет в удовольствие, а тарантас заморит.

— Ну, не знаю... — с сомнением говорит отец, — давно не ездила. А «лисица» как, не шатается?

Говорят, что и «лисица» крепкая, не шелохнется в гнездах, как впаяна. Очень чудно — «лисица». Я хочу посмотреть «лисицу», и мне показывают круглую, как оглобля, жердь, крепящую передок с задком. Но почему — лисица? Говорят — кривая, лесовая, хитрущая самая вещь в телеге, часто обмывает, ломается.

Отец согласен, но велит кликнуть Бровкина, осмотреть.

Приходит колесник Бровкин, с нашего же двора. Он всегда хмурый, будто со сна, с мохнатыми бровями. Отец зовет его «недовольный человек».

— Ну-ка, недовольный человек, огляди-ка тележку, хочу к Троице с ними отпустить.

Колесник не говорит, обхаживает тележку, гукает. Мне кажется, что он недоволен ею. Он долго ходит, а мы стоим. Начинает шатать за грядки, за колеса, подымает задок, как перышко, и бросает сердито, с маху. И опять чем-то недоволен. Потом вдруг бьет кулаком в лубок, до пыли. Молча срысывает с передка, сердито хрипит: «Пускай!» — и опрокидывает

на кузов. Бьет обухом в задок, садится на корточки и слушает: как удар? Сплевывает и морщится. Слышу, как будто – ммдамм!.. – и задок уже без колес. Колесник оглаживает оси, стучит в обрезы, смотрит на них в кулак и вдруг – ударяет по «лисице». У меня сердце ёкает – вот сломает! Прыгает на «лисицу» и мнет ее. Но «лисица» не подает и скрипу. И все-таки я боюсь, как бы не расхулил тележку. И все боятся, стоят – молчат. Опять ставит на передок, оглаживает грядки и гукает. Потом вынимает трубочку, наминает в нее махорки, даже и не глядит, а все на тележку смотрит. Раскуривает долго, и кажется мне, что он и через спичку смотрит. Крепко затягивается, пускает зеленый дым, делает руки самоваром и грустно качает головой.

Отец спрашивает, прищурясь:

– Ну, как, недовольный человек, а? Плоха, что ли?

Спрашивает и Горкин, и голос его сомнительный.

– А как, по-твоему? Ничего тел ежонка... а?

Колесник шлепает вдруг по грядке, словно он рассердился на тележку, и взмахивает на нас рукою с трубкой:

– И где ее делали такую?! Хошь в Киев – за Киев поезжайте – сносу ей довеку не будет, – вот вам и весь мой сказ! Слажена-то ведь ка-ак, а!.. Что значит на совесть-то делана... а? Были мастера... Да разве это те-леж-ка, а?.. – Смотрит он на меня чего-то. – Не тележка это, а... детская игрушка! И весь разговор.

Так все и просияли. Наказал – шкворень разве переме-

нить? Да нет, не стоит, живет и так. Даже залез в оглобли и выкатил на себе тележку. Ну прямо перышко!

– На такой ездить жалко, – говорит он, не хмурясь. – Ты гляди, мудровал-то как! За одной резьбой, может, недели три проваландался... А чистота-то, а ровнота-то какая, а! Знаю, тверской работы... пряники там пекут рисованы. А дуга где?

Находят дугу, за санками. Все глядят на дугу: до того вся рисована! Колесник вертит ее и так, и эдак, оглаживает и колукает ногтем, проводит по ней костяшками, и кажется мне, что дуга звенит – рубчиками звенит.

– Кружева! Только молодым кататься, пощеголять. Картина писаная!..

К нам напрашиваются в компанию – веселей идти будет, но Горкин всем говорит, что идти не заказано никому, а веселиться тут нечего, не на ярмарку собрались. Чтобы не обидеть, говорит:

– Вам с нами не рука, пойдем тихо, с пареньком, и четыре дня, может, протянемся, лучше уж вам не связываться.

Пойдет с нами Федя с нашего двора, бараночник. Он из себя красавец, богатырь-парень, кудрявый и румяный. А главное – богомольный и согласный, складно поет на клиросе, и характер у него – лен. С ним и в дороге поспокойней. Дорога дальняя, все лесами. Идти не страшно, народу много идет, а бывает – припоздаешь, удержишься... а за Рохмановом овраги пойдут, мосточки, перегоны глухие – с



возов сколько раз срезали. А под Троицей Убитиков овраг есть, там недавно купца зарезали. Преподобный поохранит, понятно... да береженого и Бог бережет.

Еще с нами идет Домна Панферовна, из бань. Очень она большая, «сырая» – так называет Горкин, – с ней и прокантилишься, да женщина богомольная и обстоятельная. С ней и поговорить приятно, везде ходила. Глаза у ней строгие, губа отвисла, и на шее мешок от жира. Но она очень добрая. Когда меня водили в женские бани, она стригла мне ноготки и угощала моченым яблочком. Я знаю, что такого имени нет – Домна Панферовна, а надо говорить – Домна Парфеновна, но я не мог никак выговорить, и всем до того понравилось, что так и стали все называть – Панферовна. А отец даже напевал – Пан-фе-ровна! Очень уж была толстая, совсем – Пан-фе-ровна. Она и пойдет с нами, и за мною поприглядит, все-таки женский глаз. Она и костоправка, может и живот поправить, за ноги как-то встряхивает. А у Горкина в ноге какая-то жила отымается, заходит, – она и выправит.

С ней пойдет ее внучка – учится в белошвейках, – старше меня, тихая девочка Аня, совсем как куколка, все только глазками хлопает и молчит, и щечки у ней румяно-белые. Домна Панферовна называет ее за эти щечки «брусничника ты моя беленькая-све-женькая».

Напрашивался еще Воронин-булочник, но у него «слабость», запивает, а человек хороший, три булочных у него, обидеть человека жалко, а взять – намаешься. Подсылали

к нему Василь Василича – к Николе-на-Угреши молиться звать, там работа у нас была, но Воронин и слушать не хотел. Хорошо – брат приехал и задержал, и поехали они на Воробьевку, к Крын-кину, на Москву смотреть. Мы уж от Троицы вернулись, а они все смотрели. Господь отнес.

К нам приходят давать на свечи и на масло Угоднику и просят вынуть просвирки, кому с Троицей на головке, кому – с Угодником. Все надо записать, сколько с кого получено и на что. У Горкина голова заходится, и я ему помогаю. Святые деньги, с записками, складываем в мешочек. Есть такие, что и по десяти просвирок заказывают, разных, – и за гривенник, и за четвертак даже. Нам одним – прикинул на счетах Горкин – больше ста просвирок придется вынуть – и родным, и знакомым, а то могут обидеться: скажут – у Троицы были, а «милости» и не принесли.

Антипушка уже мыл Кривую и смазал копытца дочерна – словно калошки новые. Приходил осмотреть кузнец, в порядке ли все подковы и как копыта. Тележка уже готова, колеса и оси смазаны, – и будто дорогой пахнет. Горкин велит привернуть к грядкам пробойники, поаккуратней как, – ветки воткнем на случай, беседочку навесим, – от солнышка либо от дождичка укрыться. Положен мешок с овсом, мягко набито сеном, половичком накрыто – прямо тебе постеля! Сшили и мне мешочек, на полотенчике, как у всех. А пошонок вырежем в дороге, ореховый: Сокольниковыми пойдем, орешнику там... каждый себе и выберет.

Все осматривают тележку, совсем готовую, — поезжай. Господь даст, завтра пораньше выйдем, до солнышка бы Москвой пройти, по холодочку. Дал бы только Господь хорошую погоду завтра!

Мне велят спать ложиться, а солнышко еще и не садилось. А вдруг без меня уйдут? Говорят — спи, не разговаривай, уж пойдешь. Потому и Кривая едет. Я думаю, что верно. Говорят: Горкин давно уж спит, и Домна Панферовна храпит, послушай.

Я иду проходной комнаткой к себе. Домна Панферовна спит, накрывшись, совсем — гора. Сегодня у нас ночует: как бы не запоздать да не задержать. Анюта сидит тихо на сундуке, говорит мне, что спать не может, все думает, как пойдем. Совсем как и я — не может. Мне хочется попугать ее, рассказать про разбойников под мостиком. Я говорю ей шепотом. Она страшно глядит круглыми глазами и жмется к стенке. Я говорю — ничего, с нами Федя идет большой, всех разбойников перебьет. Анюта крестится на меня и шепчет:

— Воля Божья. Если что кому на роду написано — так и будет. Если надо зарезать — и зарежут, и Федя не поможет. Спроси-ка бабушку, она все знает. У нас в деревне старика одного зарезали, отняли два рубля. Против судьбы не пойдешь. Спроси-ка бабушку... она все знает.

От ее шепота и мне делается страшно, а Домна Панферовна так храпит, будто ее уже зарезали. И начинает уже тем-

неть.

– Ты не бойся, – шепчет Аня, озираясь, зачем-то сжимает щеки ладонками и хлопает все глазами, боится буд-то, – молись великомученице Варваре. Бабушка говорит – тогда ничего не будет. Вот так: «Святая великомученица Варвара, избави меня от напрасныя смерти, от часа ночного обстояннаго»... от чего-то еще?.. Ты спроси бабушку, она все...

– А Горкин, – говорю я, – больше твоей бабушки знает! Надо говорить по-другому... Надо – «всякаго обуреования и навета, и обстояния... избавь и спаси на пути-дороге, и на постое, и на... ходу!». Горкин все знает!

– А моя бабушка костоправка – и животы правит, и во всяких монастырях была... Горкин умный старик, это верно... и бабушка говорит... У бабушки ладанка из Иерусалима с косточкой... от мощей... всегда на себе носит!

Я хочу поспорить, но вспоминаю, что теперь грех – душу надо очистить, раз идем к Преподобному. Я иду в свою комнату, вижу шарик от солитера, хрустальненький, с разноцветными ниточками внутри... и мне вдруг приходит в голову удивить Аню. Я бегу к ней на цыпочках. Она все сидит, поджавши ноги, на сундуке. Я спрашиваю ее, почему не спит. Она берет меня за руку и шепчет: «Бою-усь... разбойников бою-усь...» Я показываю ей хрустальный шарик и говорю, что это волшебный и даже святой шарик... будешь держать в кармане – и ничего не будет! Она смотрит на ме-

ня, правду ли говорю, и глаза у ней будто просят. Я отдаю ей шарик и шепчу, что такого шарика ни у одного человека нет, только у меня и есть. Она прячет его в кармашек.

Я не могу заснуть. На дворе ходят и говорят. Слышен голос отца и Горкина. Отец говорит: «Сам завтра провожу, мне надо по делам рано!»

Лежу и думаю, думаю, думаю... о дороге, о лесах и оврагах, о мосточках... где-то далеко-далеко Угодник, который теперь нас ждет. Все думаю, думаю – и вижу... и во мне начинает петь, будто не я пою, а что-то во мне поет, в голове, такое светлое, розовое, как солнце, когда его нет на небе, но оно вот-вот выйдет. Я вижу леса-леса и большой свет над ними, и все поет, в моей голове поет...

Красавица-зорька...

В небе за-го-ре...лась...

Из большого ле...са...

Солнышко-о... выходит...

Будто отец поет?..

Кричат петухи. Окна белеют в занавесках. Кричат на дворе. Горкин распоряжается:

– Пора закладывать... Федя здесь?.. Час нам легкой, по холодку и тронемся, Господи, благослови...

Отец кричит – знаю я – из окна сеней:

– Пора и богомольца будить! Самовар готов?..

До того я счастлив, что слезы набегают в глазах. Заря, – и

сейчас пойдем! И отдается во мне чудесное, такое радостное  
и светлое, с чем я заснул вчера, певшее и во сне со мною,  
светающее теперь за окнами, —

Красавица-зо-рька  
В небе за-го-ре...лась...  
Из большого ле...са  
Солнышко-о выходит...

# Москвой

Из окна веет холодком зари. Утро такое тихое, что слышно, как бегают голубки по крыше и встряхивается со сна Бушуй. Я минутку лежу, тянусь; слушаю – петушки поют, голос Горкина со двора, будто он где-то в комнате:

– Тяжи-то бы подтянуть, Антипушка... да охапочку бы сенца еще!

– Маленько подтянуть можно. Погодку-то дал Господь...

– Хорошо, жарко будет. Кака роса-то, крыльцо все мокрое. Бараночек, Федя, прихватил?.. Это вот хорошо с чайком.

– Покушайте, Михал Панкратыч, только из печи выкинули.

Слышно, как ломают они бараночки и хрустят. И будто пахнет баранками. Все у крыльца, за домом. И Кривая с тележкой там, подковками цокает о камни. Я подбегаю к окошку крикнуть, что я сейчас. Веет радостным холодком, зарей. Вот такая она, заря-то!

За Барминихиным садом небо огнистое, как в пожар. Солнца еще не видно, но оно уже светит где-то. Крыши сараев в бледно-огнистых пятнах, как бывает зимой от печки. Розовый шест скворешника начинает краснеть и золотиться, и над ним уже загорелся прутик. А вот и сараи золотятся. На гребешке амбара сверкают крыльями голубки, вспыхива-

ет стекло под ними: это глядится солнце. Воздух... пахнет как будто радостью.

Бежит с охапкой сенца Антипушка, захлопывает ногой конюшню. На нем черные, с дегтя, сапоги – а всегда были рыжие, – желтый большой картуз и обвислый пиджак из парусины, Василь Василича, «для жары»; из кармана болтается веревка.

– Дегтянку-то бы не забыть!.. – заботливо окликает Горкин, – поилка, торбочка... ничего словно не забыли. Чайку по чашечке – да и с Богом. За Крестовской, у Брехунова, как следует напьемся, не торопясь, в садочке.

И я готов. Картузик на мне соломенный, с лаковым козырьком; суровая рубашка, с петушками на рукавах и воротах; расхожие сапожки, чтобы ноге полегче, новые там надеву. Там... Вспомнишь – и дух захватит. И радостно, и... не знаю что. Там – все другое, не как в миру... – Горкин рассказывал, – церкви всегда открыты, воздух – как облака, кадильный... и все поют: «И-зве-ди из темницы ду-шу мою-ууу!...» Прямо душа отходит.

Пьем чай в передней, отец и я. Четыре только прокуковало. Двери в столовую прикрыты, чтобы не разбудить. Отец тоже куда-то едет: на нем верховые сапоги и куртка. Он пьет из граненого стакана пунцовый чай, что-то считает в книжечке, целует меня рассеянно и строго машет, когда я хочу сказать, что наш самовар стал розовый. И передняя розовая



стала, совсем другая!

– Поспеешь, ногами не сучи. Мажь вот икорку на калачик.

И все считает: «Семь тыщ дерев... да с новой рощи... ну, двадцать тыщ дерев...» Качается над его лбом хохол, будто считает тоже. Я глотаю горячий чай, а часы-то стучат-стучат. Почему розовый пар над самоваром, и скатерть, и обои?.. Темная горбатая икона «Страстей Христовых» стала как будто новой, видно на ней распятие. Вот отчего такое... За окном – можно достать рукой – розовая кирпичная стена, и на ней полоса от солнца: оттого-то и свет в передней. Никогда прежде не было. Я говорю отцу:

– Солнышко заглянуло к нам!

Он смотрит рассеянно в окошко, и вот – светлеет его лицо.

– А-а... да, да. Заглянуло в проулок к нам.

Смотрит – и думает о чем-то.

– Да... дней семь-восемь в году всего и заглянет сюда к нам в щель. Дедушка твой, бывало, все дожидался, как долгие дни придут... чай всегда пил тут с солнышком, как сейчас мы с тобой. И мне показывал. Маленький я был, забыл уж. А теперь я тебе. Так вот все и идет... – говорит он задумчиво. – Вот и помолись за дедушку.

Он оглядывает переднюю. Она уже тускнеет, только икона светится. Он смотрит над головой и напевает без слов любимое – «Кресту

Твоему... поклоня-емся, Вла-ды-ыко-о...». Солнышко уползает со стены.

В этом скользящем свете, в напеве грустном, в ушедшем куда-то дедушке, который видел то же, что теперь вижу я, чутая смутной мыслью, что все уходит... уйдет и отец, как этот случайный свет. Я изгибаю голову, слежу за скользящим светом... вижу из щели небо, голубую его полосу между стеной и домом... и меня заливают радостью.

— Ну, заправился? — говорит отец. — Помни, слушаться Горкина. Мешочек у него с мелочью, будет тебе выдавать на нищих. А мы, Бог даст, догоним тебя у Троицы.

Он крестит меня, сажает к себе на шею и сбегает по лестнице.

На дворе весело от солнца, свежовато. Кривая блестит, словно ее наваксили; блестит и дуга, и сбруя, и тележка, новенькая совсем, игрушечка. Горкин — в парусиновой поддевке, в майском картузике набочок, с мешком, румяный, бодрый, борода — как серебро. Антипушка — у Кривой, с вожжами. Федя — по-городскому, в лаковых сапогах, словно идет к обедне; на боку у него мешок с подвязанным жестяным чайником. На крыльце сидит Домна Панферовна, в платочке, с отвислой шеей, такая красная, — видно, ей очень жарко. На ней серая тальма балахоном, с висюльками, и мягкие туфли-шлепанцы; на коленях у ней тяжелый ковровый саквояж и белый пузатый зонт. Анюта смотрит из-под платочка куколкой. Я спрашиваю, взяла ли хрустальный шарик. Она смотрит на бабушку и молчит, а сама щупает в кармашке.

– Матерьял сдан, доставить полностью! – говорит отец, сажая меня на сено.

– Будьте покойны, не рассыпим, – отвечает Горкин, снимает картуз и крестится. – Ну, нам час добрый, а вам счастливо оставаться, по нам не скучать. Простите меня, грешного, в чем согрубил... Василь Василичу поклончик от меня скажите.

Он кланяется отцу, Марьюшке-кухарке, собравшимся на работу плотникам, скорнякам, ночевавшим в телеге на дворе, вылезавшим из-под лоскутного одеяла, скребущим головы, и тихому в этот час двору. Говорят на разные голоса: «Час вам добрый», «Поклонитесь за нас Угоднику». Мне жаль чего-то. Отец щурится, говорит: «Я еще с вами штуку угоню!» – «Прокурат<sup>3</sup> известный», – смеется Горкин, прощается с отцом за руку. Они целуются. Я прыгаю с тележки.

– Пускай его покрасуется маленько, а там посадим, – говорит Горкин. – Значит, так: ходу не припушай, по мне трафься. Пойдем полегоньку, как богомолы ходят, и не уморимся. А ты, Домна Панферовна, уж держи фасон-то.

– Сам-то не оконфузья, батюшка, а я котышком покачусь. Саквояжик вот положу, пожалуй.

Из сеней выбегает Трифоныч, босой, – чуть не проспал проститься, – и сует посылочку для Сани, внука, послушником у Троицы. А сами с бабушкой по осени побывают, мол... торговлишку, мол, нельзя оставить, пора рабочая самая.

---

<sup>3</sup> *Прокурат* – шутник, затейник, проказник (нар.).

– Ну, Господи, благослови... пошли!

Тележка гремит-звенит, попрыгивает в ней сено. Все высыпает за ворота. У Ратникова, напротив, стоит на тротуаре под окнами широкая телега, и в нее по лотку спускают горячие ковриги хлеба; по всей улице хлебный дух. Горкин велит Феде прихватить в окошко фунтика три-четыре «сладкого», за Крестовской с чайком заправимся. Идем не спеша, по холод очку. Улица светлая, пустая; метут мостовую дворники, золотится над ними пыль. Едут решета на дрожинах: везут с Воробьевки на Болото первую ягоду – сладкую русскую клубнику: дух по всей улице. Горкин окликает: «Почем клубника?» Отвечают: «По деньгам! Приходи на Болото, скажем!» Горкин не обижается: «Известно уж, воробьевцы... народ зубастый».

На рынке нас нагоняет Федя, кладет на сено угол теплого «сладкого», в бумажке. У бассейны Кривая желает пить. На крылечке будки, такой же сизой, как и бассейна, на середине рынка, босой старичок в розовой рубахе держит горящую лучину над самоварчиком. Неужели это Гаврилов, бутешник! Но Гаврилов всегда с медалями, в синих штанах с саблей, с черными, жесткими усами, строгий. А тут – старичок, как Горкин, в простой рубахе, с седенькими усами, и штаны на нем ситцевые, трясутся, ноги худые, в жилках, и ставит он самоварчик, как все простые. И зовут его не Гаврилов, а Максимыч.

Пока поит Антипушка, мы говорим с Максимычем. Он нас хвалит, что идем к Троице-Сергию, – «дело хорошее», говорит, сует пылающую лучину в самоварчик и велит погодить маленько – гривенничек на свечки вынесет. Горкин машет: «Че-го, сочтемся!» – но Максимыч отмахивается: «Не-э, это уж статья особая», – и выносит два пятака. За один – Преподобному поставить, а другую... «выходит, что на канун... за упокой души воина Максима». Горкин спрашивает: «Так и не дознались?» Максимыч смотрит на самоварчик, чешет у глаза и говорит невесело:

– Обер проезжал намедни, подозвал пальцем... помнит меня. Говорит: «Не надейся, Гаврилов, к сожалению... все министры все бумаги перетряхнули – и следу нет!» Пропал под Плевной. В августе месяце два года будет. А ждали со старухой. Охотником пошел. А место какое выходило, Городской части... самые Ряды, Ильинка...

Горкин жалеет, говорит: «Живот положил... молиться надо».

– Не воротишь... – говорит в дым Максимыч, над самоварчиком.

А я-то его боялся раньше.

Слышу, кричит отец, скачет на нас Кавказкой:

– Богомолыцы, стой! Ах, Горка... как мне, брат, глаз твой нужен! Рощи торгую у Васильчиковых, в Коралове... делянок двадцать. Как бы не обмишультиться!

– Вот те раз... – говорит Горкин растерянно, – давеча-то

бы сказали!.. Как же теперь... дороги-то наши разные?..

– Ползите уж, обойдусь. Не хнычешь? – спрашивает меня и скачет к Крымку, налево.

– На вот, не сказал давеча! – всплескивает руками Горкин. – Под Звенигород поскакал. Ну, горяч!.. Пожалуй, и к Савве Преподобному доспеет.

Я спрашиваю, почему теперь у Гаврилова усы седые и он другой.

– Рано, не припарадился. А то опять бравый будет. Иначе ему нельзя.

Якиманка совсем пустая, светлая от домов и солнца. Тут самые раскупцы, с Ильинки. Дворники, раскорячив ноги, лежат на воротных лавочках, бляхи на них горят. Окна вверху открыты, за ними тихо.

– Домна Панферовна, жива?..

– Жива... сам-то не захромай... – отзывается Домна Панферовна с одышкой.

Катится вперевалочку, ничего. Рядом, воробушком, Анята с узелочком, откуда глядит калачик. Я – на сене, попрыгиваю, пою себе. Попадаются разношники с Болота, несут зеленый лук молодой, красную, первую, смородинку, зеленый крыжовник аглицкий – на варенье. Едут порожные ломовые, жуют ситный, идут белые штукатуры и маляры с кистями, подходят к трактирам пышечники.

Часовня Николая Чудотворца, у Каменного моста, уже открылась, заходим приложиться, кладем копеечки. Горкин

дает мне из моего мешочка. Там копейки и грошики. Так уж всегда на богомолье – милостыньку дают, кто просит. На мосту Кривая упирается, желает на Кремль глядеть: приучила так прабабушка Устинья. Москва-река – в розовом туманце, на ней рыболовы в лодочках, поднимают и опускают удочки, будто водят усами раки. Налево – золотистый, легкий, утренний храм Спасителя, в ослепительно золотой главе: прямо в нее бьет солнце. Направо – высокий Кремль, розовый, белый с золотцем, молодо озаренный утром. Тележка катится звонко с моста, бежит на вожжах Антипушка. Домна Панфёровна, под зонтом, словно летит по воздуху, обогнала и Федю. Кривая мчится, как на бегах, под горку, хвостом играет. Медленно тянем в горку. И вот – Боровицкие ворота.

Горкин ведет Кремлем.

Дубовые ворота в башне всегда открыты – и день, и ночь. Гулко гремит под сводами тележка, и вот он, священный Кремль, светлый и тихий-тихий, весь в воздухе. Никто-то не сторожит его. Смотрят орлы на башнях. Тихий дворец, весь розовый, с отблесками от стекол, с солнца. Справа – обрыв, в решетке, крестики древней церковки, куполки, зубчики стен кремлевских, Москва и даль.

Горкин велит остановиться.

Крестимся на Москву внизу. Там, за рекой, Замоскворечье, откуда мы. Утреннее оно, в туманце. Свечи над ним мерцают – белые колоколенки с крестами. Слышится редкий благовест.

А вот – соборы.

Грузно стоят они древними белыми стенами, с узенькими оконцами, в куполах. Пухлые купола, клубятся. За ними – синь. Будто не купола: стоят золотые облака – клубятся. Тлеют кресты на них темным и дымным золотом. У соборов не двери – дверки. Люди под ними – мошки. В кучках сидят они, там и там, по плитам Соборной площади. Что ты, моя тележка... и что я сам! Остро звенят стрижи, носятся в куполах, мелькая.

– Богомольцы-то, – указывает Горкин, – тут и спят, под соборами, со всей России. Чаек попивают, переобуваются... хорошо. Успенский, Благовещенский, Архангельский... Ах и хорошие же соборы наши... душевные!..

Постукивает тележка, как в пустоте, – отстукивает в стенах горошком.

– Во, Иван-то Великой... ка-кой!..

Такой великий... больно закинуть голову. Он молчит.

Мимо старинных пушек, мимо пестрой заградочки с солдатам, который обнял ружье и смотрит, катится звонкая тележка, книзу, под башенку.

– А это Никольские ворота, – указывает Горкин. – Крестись, Никола – дорожным помочь. Ворочь, Антипушка, к Царице Небесной... нипочем мимо не проходят.

Иверская открыта, мерцают свечи. На скользкой железной паперти, ясной от скольких ног, – тихие богомольцы, в кучках, с котомками, с громкими жестяными чайниками и меш-



ками, с палочками и клюшками, с ломтями хлеба. Молятся, и жуют, и дремлют. На синем, со звездами золотыми, куполке – железный, с мечом, Архангел держит высокий крест.

В часовне еще просторно и холодок, пахнет горячим воском. Мы ставим свечи, падаем на колени перед Владычицей, целуем ризу. Темный знакомый лик скорбно над нами смотрит – всю душу видит. Горкин так и сказал: «Молись, а Она уж всю душу видит». Он подводит меня к подсвечнику, широко разевает рот и что-то глотает с ложечки. Я вижу серебряный горшочек, в нем на цепочке ложечка. Не сладкая ли кутья, какую дают в Хотькове? Горкин рассказывал. Он поднимает меня под мышки, велит ширине разинуть рот. Я хочу выплюнуть – и страшусь.

– Глотай, глотай, дурачок... святое маслице... – шепчет он.

Я глотаю. И все принимают маслице. Домна Панферовна принимает три ложечки, будто пьет чай с вареньем, обсасывает ложечку, облизывает губы и чмокает. И Анюта как бабушка.

– Еще бы принял, а? – говорит мне Домна Панферовна и берется за ложечку, – животик лучше не заболит, а? Моленное, чистое, афонское, а?..

Больше я не хочу. И Горкин остерегает:

– Много-то на дорогу не годится, Домна Панферовна... кабы чего не вышло.

Мы проходим Никольскую, в холодке. Лавки еще не отпи-

рались, – сизые ставни да решетки. Из глухих, темноватых переулков тянет на нас прохладой, пахнет изюмом и мятным пряником: там лабазы со всякой всячиной.

В голубой башенке – Великомученик Пантелеймон. Заходим и принимаем маслице. Тянемся долго-долго – и все Москва. Анюта просится на возок, кривит ножки, но Домна Панферовна никак: «Взялась – и иди пешком!» Входим под Сухареву башню, где колдун Брюс сидит<sup>4</sup>, замуравлен на веки вечные. Идем

Мещанской – все-то сады, сады. Двигутся богомольцы, тянутся и навстречу нам. Есть московские, как и мы; а больше дальние, с деревень: бурые армяки-сермяга, онучи, лапти, юбки из крашенины, в клетку, платки, панёвы<sup>5</sup>, – шорох и шлепы ног. Тумбочки – деревянные, травка у мостовой; лавчонки – с сушеной воблой, с чайниками, с лаптями, с кваском и зеленым луком, с копчеными селедками на двери, с жирною «астраханкой» в кадках. Федя полощется в рассоле, тянет важную, за пятак, и нюхает – не духовного звания? Горкин крикает: хоро-ша! Говеет, ему нельзя. Вон и желтые домики заставы, за ними – даль.

– Гляди, какие... рязанские! – показывает на богомолок

---

<sup>4</sup> *Брюс Яков Вилимович* (1670–1735) – русский государственный деятель. Ведал Московской типографией, располагавшейся в Сухаревой башне. Выйдя в отставку, занялся опытами по физике, механике и т. д. За что народ прозвал его «колдуном».

<sup>5</sup> *Панёва* – шерстяная юбка, красная, синяя, клетчатая, которую носят только замужние женщины.

Горкин. – А ушками-то позадь – смоленские. А то тамбовки, ноги кувалдами... С далече, мать?

– Дальняя, отец... рязанские мы, стяпные... – поет старушка. – Московский сам-то?

Внучек тебе-то паренек? Картузик какой хороший... почему такой?

С ней идет красивая молодка, совсем как девочка, в узорочной сорочке, в красной повязке рожками, смотрит в землю. Бусы на ней янтарные, она их тянет.

– Твоя красавица-то? – спрашивает Горкин про девочку, но та не смотрит.

– Внучка мне... больная у нас она... – жалостно говорит старушка и оправляет бусинки на красавице. – Молчит и молчит, с год уж... первенького как заспала, мальчик был. Вот и идем к Угоднику. Повозочка-то у тебе нарядная, больно хороша, увозлива... почему такая?

Тележка сосуткивает на боковину, катится хорошо, пылит. Домики погрязней, пониже, дальше от мостовой стучат черные кузнецы, пахнет угарным углем.

– Прощай, Москва! – крестится на заставе Горкин. – Вот мы и за Крестовской, самое богомолье начинается. Ворочь, Антипушка, под рябины, к Брехунову... закусим, чайку попьем. И садик у него приятный. Наш, ростовский... приговорки у него всякие в трактире, расписано хорошо...

Съезжаем под рябины. Я читаю на синей вывеске «Трактир «Отрада» с мытищинской водой Брехунова и сад».

– Ему с ключей возят. Такая вода... упьешься! И человек раздушевный.

– А селедку-то я есть не стану, Михал Панкратыч, – говорит Федя, – поговорь тоже хочю. Куда ее?..

– Хорошее дело, поговей. Пятак зря загубил... да ты богатый. Проходящему кому подай... куда!

– А верно!.. – говорит Федя радостно и сует старику с котомкой, плетущемуся в Москву.

Старичок крестится на Федю, на селедку и на всех нас.

– Во-от... спаси тя Христос, сынок... а-а-а... спаси тя... – тянет он едва слышно, такой он слабый, – а-а-а... се-ледка... спаси Христос... сынок...

– Как Господь-то устраивает! – кричит Горкин. – Будет теперь селедку твою помнить, до самой до смерти.

Федя краснеет даже, а старик все щупает селедку. Его обступают богомолки.

– С часок, пожалуй, пропьем. Кривую-то лучше отпрячь, Антипушка... во двор введем. Маленько постоит тут, скажу хозяину.

Богомолцы все движутся. Пахнет дорогой, пылью. Видны леса. Солнце уже печет, небо голубовато-дымно. Там, далеко за ним, – радостное, чего не знаю, – Преподобный. Церкви всегда открыты, и все поют. Господи, как чудесно!..

– Вводи, Антипушка! – кричит Горкин, уж со двора.

За ним – хозяин, в белой рубахе, с малиновым пояском под пузом, толстый, веселый, рыжий. Хвалит нашу тележку,

меня, Кривую, снимает меня с тележки, несет через жижицу в канавке и жарко хрипит мне в ухо:

– Вот уважили Брежунова, заглянули! А я вам стишок спою, все мои гости знают...

Брежунов зовет в «Отраду»

Всех – хошь стар, хошь молодой.

Получайте все в награду

Чай с мытищинской водой!

## Богомольный садик

Мы – на святой дороге, и теперь мы другие, богомольцы. И все кажется мне особенным. Небо – как на святых картинках, чудесного голубого цвета, такое радостное. Мягкая, пыльная дорога с травкой по сторонам, не простая дорога, а святая: называется – Троицкая. И люди ласковые такие, все поминают Господа: «довел бы Господь к Угоднику», «пошли вам Господи!» – будто мы все родные. И даже трактир называется – «Отрада».

Распрягаем Кривую и ставим в тень. Огромный кудрявый Брехунов велит дворнику подбросить ей свежего сенца – только что подкосили на усадьбе, – ведет нас куда-то по навозу и говорит так благочестиво:

– В богомольный садик пожалуйста... Москву повыполоскать перед святой дорожкой, как говорится.

Пахнет совсем по-деревенски – сеном, навозом, дегтем. Хрюкают в сараюшке свиньи, гогочут гуси, словно встречают нас. Брехунов отшвыривает ногой гусака, чтобы не заклевал меня, и ласково объясняет мне, что это гуси,

самая глупая птица, а это вот петушок, а там бочки от сахара, а сахарок с чайком пьют, и удивляется: «Ишь ты какой, даже и гусей знает!» Показывает высокий сарай с полатями и смеется, что у него тут «лоскутная гостиница», для странного народа.

– Поутру выгоняю, а к ночи битком... за тройчатку, с киятком! Из вашего леску! Так папашеньке и скажите: был, мол, у Прокопа Брехунова, чай пил и гусей видал. А за лесок, мол, Брехунов к Покрову никак не может... а к Пасхе, может, Господь поможет.

Все смеются. Анята испуганно шепчет мне: «Бабушка говорит, все трактирщики сушие разбойники... зарежут, кто ночует!» Но Брехунов на разбойника не похож. Он берет меня за голову, спрашивает: «А Москву видал?» – и вскидывает выше головы. Я знаю эту шутку, мне нравится, пальцы только у него жесткие. Он повертывает меня и говорит: «Мне бы такого паренька-то!» У него все девчонки, пять штук девчонок, на пучки можно продавать. Домна Панферовна не велит отчаиваться, может что-то поговорить супруге. Брехунов говорит – навряд, у старца Варнавы были, и он не обнадежил: «Зачем, говорит, тебе наследничка?» – Говорю: «Господь дает, расширяюсь... а кому всю машину передам?» А он, как в шутку: «Этого добра и без твоего много!» – трактирных, значит, делов.

– Не по душе ему, значит, – говорит Горкин, – а то бы помолился.

– А чайку-то попить народу надо? Говорю: «Басловите, батюшка, трактирчик на Разгуляе открываю». А он опять все сомнительно: «Разгуляться хочешь?» Открыл. А подручный меня на три тыщи и разгулял! В пустяк вот – и то провидел.

Горкин говорит, что для святого нет пустяков, они до все-

ГО СНИСХОДЯТ.

Пьем чай в богомольном садике. Садик без травки, вытоптано, наставлены беседки из бузины, как кущи, и богомольцы пьют в них чаек. Все народ городской, небедный. И все спрашивают друг друга, ласково: «Не к Преподобному ли изволите?» – и сами радостно говорят, что и они тоже к Преподобному, если Господь сподобит. Будто тут все родные. Ходят разношники со святым товаром – с крестиками, с образками, со святыми картинками и книжечками про «жизия». Крестиков и образков Горкин покупать не велит: там купим, окропленных со святых мощей, лучше на монастырь пойдет. В монастыре, у Троице-Сергия, три дня кормят за даром всех бедных богомольцев, сколько ни приходи. Федя покупает за семитку книжечку в розовой бумажке – «Житие Преподобного Сергия», – будем рассчитывать дорогой, чтобы все знать. Ходит монашка в подкованных башмаках, кланяется всем в пояс – просит на бедную обитель. Все кладут ей по силе возможности на черную книжку с крестиком.

– И как все благочестиво да хорошо, смотреть приятно! – говорит Горкин радостно. – А по дороге и еще лучше будет. А уж в Лавре... и говорить нечего. Из Москвы – как из ада вырвались.

Бегают белые половые с чайниками, похожими на большие яйца: один с кипятком, другой, поменьше, с заварочкой. Называется – парочка. Брежунов велит заварить для нас осо-



бенного, который розаном пахнет. Говорит нам:

— Кому — вот те на, а для вас — господина Боткина! Кому пареного, а для вас — баринова!

И приговаривает стишок:

Русский любит чай вприкуску  
Да покруче кипяток!

— А ежели по-богомольному, то вот как: «поет монашек, а в нем сто чашек»? — отгадай, ну-ка? Самоварчик! А ну, опять... «носик черен, бел-пузат, хвост калачиком назад»? Не знаешь? А вон он, чайничек-то! Я всякие загадки умею. А то еще богомольное, монахи любят... — «Го-спода помо-лим, чайком грешки промо-ем!» А то и кишки промоем... и так говорят.

— Это нам не подходит, Прокоп Антоныч, — говорит Горкин, — в Москве наслушались этого добра-то.

— Москва уж всему обучит. Гяди-ты, прикусывает-то как чисто, а! — дивится на меня Брехунов. — И кипятку не боится!

Предлагает нам расстегайчика, каши на сковородке со сметочком, а то московской соляночки со свежими подбerezничками. Горкин отказывается. У Троицы, Бог даст, отговемшись, в «блинных», в овражке, всего отведаем — и грибочков, и карасиков, и кашничков заварных, и блинков, то, се... а теперь, во святой дороге, нельзя ублажать мамон. И то бараночками да мягконьким грешим вот, а дальше уж на

сухариках поедом, разве что на ночевке щец постных похлебаем.

Брехунов хвалит, какие мы правильные, хорошо веру держим:

– Глядеть на вас утешительно, как благолепие соблюдаете. А мы тут, как черви какие, в пучине крутимся, праздники позабыли. На масленой вон странник проходил... может, слышали... Симеонушка-странник?

– Как не слышать, – говорит Горкин, – сосед наш был, на Ордынке кучером служил у краснорядца Пузакова, а потом, годов пять уж, в странчество пошел, по благодати. Так что он-то?..

– На все серчал. Жена его на улице ветрела, завела в трактир, погреться, ростепель была, а на нем валенки худые и промокши. Увидал стойку... масленица, понятно, выпимши народ, у стойки непорядок, понятно, шкаликами выстукивают во как... и разговор не духовный, понятно... Он первым делом палкой по шкаликам, начисто смел. Мы его успокоили, под образа посадили, чайку, блинков, то, се...

Плакать принялся над блинками. Один блин и сжевал-то всего. Потом кэ-эк по чайнику кулаком!.. «А, – кричит, – чай да сахара, а сами катимся с горы!..» Погрозил посохом и пошел. Дошел до каменного столба к заставе да трои суток и высидел, бутушник уж его принял, а то стечение народу стало, проезду нет. «Мне, – говорит, – у столба теплей, ничем на вашей печке!» Грешим, понятно, много. Такими-то еще

и держимся.

Он уходит, говорит: «Делов этих у меня... уж извините».

К нам подходят бедные богомольцы, в бурых сермягах и лапотках, крестятся на нас и просят чайку на заварочку щепотку, мокренького хоть. Горкин дает щепотки и сахарку, но набирается целая куча их, и все просят. Мы отмахиваемся – где же на всех хватит. Прибегает Брежунов и начинает кричать: как они пробрались? Гнать их в шею! Половые гонят богомолка салфетками. Пролезли где-то через дыру в заборе и на огороде клубнику потоптали. Я вижу, как одному старику дал половой в загорбок. Горкин вздыхает: «Господи, греха-то что!» Брежунов кричит: «Их разбалуй, настоящему богомольцу и ходу не дадут!» Одна старушка легла на землю, и ее поволокли волоком, за сумку. Горкин разохался:

– Мы кусками швыряемся, а вон... А при конце света их-то Господь первых и призовет. Их там не поволокут... там кого другого поволокут.

И Антипушка говорит, что поволокут. Домна Панферовна стыдит полового, что мать ведь свою, дурак, волочит. А он свое: нам хозяин приказывает. И все в беседках начали говорить, что нельзя так со старым человеком, крепче забор тогда поставьте! Брежунов оправдывается, что они скрозь землю пролезут... что вам-то хорошо, попили да пошли, а его прямо одолели!..

– «Лоскутную» им поставил, весь спитой чай раздаю, кипятком хоть залейся, и за все три монетки только! Они за

день боле полтинника нахнычут, а есть такие, что от стойки не отгонишь, пятаками швыряются. Не все, понятно, и праведные бывают...

– Если бы я был царь, – говорит Федя, – я бы по всем богомольным дорогам трактиры велел построить и всем бы бесплатно все бы... бедные которые, и чай, и щец с ломтем хлеба... А то зимой сколько таких позамерзает!

Горкин хвалит его – не в папашу пошел: тот три дома на баранках нажил, а Федя в обитель собирается, а ему богатеющую невесту сватают. Федя краснеет и не смотрит, а Домна Панферовна говорит, что вон Алексей-то Божий человек царский сын был, а в конуру ушел от свадьбы... от царства отказался.

Антипушка крестится в бузину и говорит радостно так:  
– До чего ж хорошо-то, Го-споди!.. Какие святые-то бывают, а уж нам хоть знать-то про них и то радость великая.

Соседи по беседке рассказывают, что есть один такой в Таганке, сын богатого мучника... взял на Крещение у дворника полушубок, шапку да валенки – и пропал! А вот на самый день матери Елены, царя Костинкина<sup>6</sup>, 21 числа май месяца, письмо пришло с Афонской горы: «Тут я нахожусь, на веки веков, аминь». Три тыщи мучник на монастырь будто выслал.

Все хвалят, и так всем радостно, что есть и теперь подвиж-

---

<sup>6</sup> Правильно: Константин – святой равноапостольный царь Константин Великий (ок. 285–337).

ники. И Брежунов говорит, что если уж по-настоящему сказать, то лучше богомольной жизни ничего нет. Он давно при этом деле находится и видит, сколько всякого богомольного народа, – душа прямо не нарадуется!

Мы пьем чай очень долго. Федя давно напился и читает нам «Житие», нараспев, как в церкви. Домна Панферовна сидит, разваливши рот, еле передыхает, – по самое сердце допилась. Анята все пристает к ней, просит: «Бабушка, пожалуйста, не помри – смотри... у тебя сердце выскочит, как намедни!» А с ней было плохо на масленице, когда она тоже допилась у нас и много блинчиков поела. Она все потирает сердце, говорит: чай это крепкий такой. Горкин говорит: пропотеешь – облегчит, а чай на редкость. Они с Антипушкой все стучат крышечкой по чайнику, еще кипяточка требуют. Пиджак и поддевичку они сняли, у Антипушки течет с лысины, рубаха на плечах взмокла, и Горкин все утирается полотенцем, – а пьют и пьют. Я все спрашиваю: да когда же пойдем-то? А Горкин только и говорит: дай напьемся. Они сидят друг против дружки, молча, держат на пальцах блюдечки, отдувают парок и схлебывают живой-то кипятком. Антипушка поглядит в бузину и повздыхает: «Их, хорошо-о!...» И Горкин – поглядит тоже в бузину и скажет: «На что лучше!» Брежунов зовет Домну Панферовну поговорить с супругой. А они все не опрокидывают чашек и не кладут сахарок на донышки. Горкин наконец говорит: «Шабаш!.. ай еще постучать, последний?» Антипушка хвалит воду, – до

чего ж мягкая! Горкин опять стучит и велит Феде сводить меня показать трактир, как хорошо расписано.

Мы идем из садика черным ходом, а навстречу нам летит с лестницы половой-мальчишка с разбитым чайником и трет чего-то затылок. На ухе у него кровь. Брехунов стоит наверху с салфеткой и кричит страшным голосом: «Голову оторву!..» – и еще нехорошие слова. Он видит нас и кричит: «С ими нельзя без боя... все чайники перебили, подлецы!» И щелкает салфеткой.

– Видал фокус? – спрашивает он меня. – Как щелкну да перейму – кончиком мясо вырву! И меня так учили. По уху щелкнут – с кровью волосья вырвут! Не на чем показать-то...

Я боюсь. Федя говорит – Михайла Панкратыч велит показать трактир, как там расписано. Брехунов берет меня за руку и ведет в большую комнату, в синий дым. Тут очень шумно, за столиками разные пьют чай. Брехунов подносит меня к прилавку, за которым все чайники на полках, словно фарфоровые яйца, и говорит: «Вот какие мальчишки-то бывают!» Я вижу очень полную, с круглым, белым лицом, как огромный чайник, светловолосую женщину. Она сидит за прилавком и пьет чай с постными пирогами. Тут и Домна Панферовна, пьет чай с вареньем, и сидит много девочек на ящиках, побольше и поменьше, все белобрысые, с голубыми гребенками на головках, и у всех в кулаке по пирогу. Брехунов ставит меня на прилавок у пирогов и повторяет: «Вот

какие бывают!» Мне стыдно, все на меня глядят, а на мне пыльные сапожки, а тут пироги и девочки. Женщина смотрит ласково и будто грустно, гладит мою руку и перебирает пальцы, спрашивает, сколько мне лет, знаю ли «Отче наш», сажает к себе на колени и дает ложечку варенья. Все девочки глядят на меня, как на какое чудо. Брехунов барабанит пальцами и тоже смотрит. Женщина спрашивает его, можно ли мне дать пирожка. Он говорит – обязательно можно! – и велит еще дать изюмцу и мятных пряников. Она насыпает мне полные карманы и все хочет поцеловать меня, но я не даюсь, мне стыдно.

Брехунов носит меня над головами, над столами, в паре-ном, дымном воздухе, показывает мне канареечек и как хорошо расписано. Я вижу лебедей на воде, а на бережку господа пьют чай и стоят, как белые столбики, половые с салфетками. Потом нарисована дорога, и по ней, в елочках, идут богомольцы в лапотках, а на пеньках сидят добрые медведи и хорошо так смотрят. Я спрашиваю – это святые медведи, от Преподобного? Он говорит – обязательно святые, от Троицы, а грешника обязательно загрызут. Только Преподобного не трогали. И показывает мне самое главное – «мытищинскую воду». Это большая зеленая гора, в елках, и наверху тоже сидят медведи, а в горе ввернуты медные краны, какие бывают в банях, и из них хлещет синими дугами «мытищинская вода» в большие самовары, даже с пеной. Потом он показывает огромный медный куб с кипятком, откуда нацежи-

вают в чайники. И говорит:

– И еще одну механику покажу, стойку нашу.

Он отводит меня к грязному прилавку, где соленые огурцы и горячая белужина на доске, а на подносе много зеленых шкаликов. Перед стойкой толпятся взъерошенные люди, грязные и босые, сердито плюются на пол и скребут ногой об ногу, Брежунов шепчет мне:

– А это пьяницы... их Бог наказал.

Пьяницы стучат пятками и кричат нехорошие слова. Мне страшно, но тут я слышу ласковый голос Горкина:

– Пора и в дорогу, запрягаем.

Он видит, на что мы смотрим, и говорит строгим голосом:

– Так не годится, Прокоп Антоныч... чего хорошего ему тут глядеть!

Он сердито тянет меня и почти кричит: «Пойдем, нечего тут глядеть, как люди себя теряют... пойдем!»

Горкин расстроен чем-то. Он сердито увязывает мешок, кричит на Федю и на Домну Панферовну: «Пустить без себя нельзя... по-мощ-ники... рублишко бы за брехню сорвать, на то вас станет!..» Домна Панферовна хватает саквояж, кричит Аняте: «Ну, чего рот раззявила, пойдем!» – кричит Горкину: «Развозился, без тебя и дороги не найдем, как же!..» – и бежит с зонтиком, в балахоне. За ней испуганная Анята с узелочком. Горкин кричит вдогонку: «Ишь шпареная какая... возу легче!» Федя не шелохнется, Брежунов стоит-по-



оглядывает. У Горкина лицо красное, дрожат руки. Он выбрасывает на столик три пятака, подвигает их к Брежунову, а тот отодвигает и все говорит: «Это почему ж такое?.. Из уважения я, как вы мои гости... Да ты счумел?!»

Горкин кричит, уже не в себе:

– Мы не гости... го-сти! Одно безобразие! Нагрели нас кораб... На богомолье идем, а нам пьяниц показывают! Не надо нам угощения!.. И я-то дурак, записался...

Брежунов говорит сквозь зубы: «Как угод-но-с», – и стучит пятаками по столу. Лицо у него сердитое. Мы идем к забору, а он вдогонку: – И вздорный же ты, старик, стал! И за что?! И шут с тобой, коли так!

Что-то звякает, и я вижу, как летят пятаки в забор. Горкин вдруг останавливается, смотрит, словно проснулся. И говорит тревожно:

– Как же это так... негоже так. Говею, а так... осерчал. Так отойти нельзя... как же так?..

Он оглядывается растерянно, дергает себя за бородку, жует губами.

– Прокоп Антоныч, – говорит он, – уж не обижайся, прости уж меня, по-хорошему. Виноват, сам не знаю, что вдруг?.. Говеть буду у Троицы... уж не попомни на мне, сгоряча я чтой-то, чаю много попил, с чаю... чай твой такой сердитый!..

Он собирает пятаки и быстро сует в карман. Брежунов говорит, что чай у него самолучший, для уважаемых, а человек

человека обидеть всегда может.

– Бывает, закипело сердце. Чай-то хороший мой, а мы-то вот...

Они еще говорят, уже мирно, и прощаются за руку. Горкин все повторяет: «А и вправду, вздорный я стал, погорячился...» Брехунов сам отворяет нам ворота, говорит, нахмуясь: «Пошел бы и я с вами подышать святым воздухом, да вот... к навозу прирос, жить-то надо!» – и плюет в жижицу в канавке.

– Просвирку-то за нас вынешь? – кричит он вслед.

– Го-споди, да как же не вынуть-то! – кричит Горкин и снимает картуз. – И выну, и помолюсь... прости ты нас, Господи! – И крестится.

Долго идем слободкой, с садами и огородами. Попадают прудики; трубы дымят по фабрикам. Скоро вольнее будет: пойдут поля, тропочки по лужкам, лесочки. Долго идем, молчим. Кривая шажком плетется. Горкин говорит:

– А ведь это все искушение нам было... все *он* ведь это! Господи, помилуй...

Он снимает картуз и крестится на белую церковь, вправо. И все мы крестимся. Я знаю, кто это – *он*.

Впереди, у дороги, сидит на травке Домна Панферовна с Анютой. Анюта тычется в узелок, – плачет? Горкин еще издали кричит им: «Ну, чего уж... пойдёмте, с Господом! По-доброму, по-хорошему...» Они поднимаются и молча идут

за нами. Всем нам как-то не по себе. Антипушка почмокивает Кривой, вздыхает. Вздыхает и Горкин, и Домна Панфёровна. А кругом весело, ярко, зелено. Бредут богомольцы – и по большой дороге, и по тропкам. Горкин говорит – по времени-то, девятого половина, нам бы за Ростокиным быть, к Мытищам подбираться, а мы святое на чай сменяли, – он виноват во всем.

Хорошо поют где-то, церковное. Это внизу, у речки, в березках. Подходим ближе. Горкин говорит – хоть об заклад побиться, Васильевские это певчие, с Полянки. Федя признает даже Ломшакова, октавный рык, а Горкин – и батыринские баса, и Костикова – тенора. Славно поют в березках. Только тревожить не годится, а то смутишь. Стоим и слушаем, как из овражка доносится:

...я-ко кади-ло пре-эд То-о-бо-о-о-ю-у-у...  
Во-зде-я-а-а...ние... руку мое-э-э-ю-уу!..

Плывет – будто из-под земли на небо. Долго слушаем, и другие с нами. Говорят – небесное пение. Кончили. Горкин говорит тихо:

– Это они на богомолье, всякое лето тройкой ходят. Вишь, узелки-то на посошках... пиджаки-то посияли, жарко. Ну, там повидаемся. И до чего ж хорошо, душа отходит! Поправился наш Ломшачок в больнице, вот и на богомолье.

Анюта шепчет – закуски там у них на бумажках и бутыл-

ка. Горкин смеется: «Глаза-то у те вострые! Может, и закусят-выпьют малость, а как поют-то! Им за это Господь простит».

Идем. Горкин велит Феде – стишок подушевней какой начал бы. Федя несмело начинает: «Стопы моя...» Горкин поддерживает слабым, дрожащим голосом: «...на-прави... по словеси Твоему...» Поем все громче, поют и другие богомольцы. Домна Панферовна, Анюта, я и Антипушка подпеваем все радостней, все душевней:

И да не обладает мно-о-ю...

Вся-кое... безза-ко-ни-и-е...

Поем и поем, под шаг. И становится на душе легко, покойно. Кажется мне, что и Кривая слушает, и ей хорошо, как нам, – помахивает хвостом от мошек. Мягко потукивает на колеях тележка. Печет солнце, мне дремлетса...

– Полежай в тележку-то, подреми... рано поднялся-то! – говорит мне Горкин. – И ты, Онюта, садись. До Мытищ-то и выпитесь.

Укачивает тележка – туп-туп... туп-туп... Я лежу на спине, на сене, гляжу в небо. Такое оно чистое, голубое, глубокое. Ярко, слепит лучезарным светом. Смотрю, смотрю... – лечу в голубую глубину. Кто-то тихо-тихо поет, баюкает. Анюта это?..

...у-гу-гу... гу-гу... гу-гу...

На зе-ле-ном... на лу-гу...

Или – стучит тележка... или – во сне мне снится?..

## На святой дороге

С треском встряхивают меня, страшные голоса кричат: «Тпру!., тпру!..» – и я, как впросонках, слышу:

– Понеслась-то как!.. Это она Яузу признала, пить желает.

– Да нешто Яуза это?

– Самая Яуза, только чистая тут она.

Какая Яуза? Я ничего не понимаю.

– Вставай, милой... ишь разоспался как! – узнаю я ласковый голос Горкина. – Щеки-те нажгло... Хуже так-то жарой сморит, в головку напекет. Вставай, к Мытищам уж подходим, донес Господь.

Во рту у меня все ссохлось, словно песок насыпан, и такая истома в теле – косточки все поют. Мытищи?.. И вспоминаю радостное: вода из горы бежит! Узнаю голосок Анюты:

– Какой же это, бабушка, богомольщик... в тележке все!

И теперь начинаю понимать: мы идем к Преподобному, и сейчас лето, солнышко, всякие цветы, травки... а я в тележке. Вижу кучу травы у глаза, слышу вялый и теплый запах, как на Троицын день в церкви, – и ласкающий холодок освежает мое лицо: сыплются на меня травинки, и через них все – зеленое. Так хорошо, что я притворяюсь спящим и вижу, жмурясь, как Горкин сыпает меня травой и смеется его борода.

– Мы его, постой, кропивкой... Онюта, да-кося мне кро-

пивку-то!..

Вижу обвисшие от жары орешины, воткнутые надо мной от солнца, и за ними – слепящий блеск. Солнце прямо над головой, палит. У самого моего лица – крупные белые ромашки в траве, синие колокольчики и – радость такая! – листики земляники с зародышками ягод. Я вскакиваю в тележку, хватаю траву и начинаю тереть лицо.

И теперь вижу все.

Весело, зелено, чудесно! И луга, и поля, и лес. Он еще далеко отсюда, угрюмый, темный. Называют его – боры. В этих борах – Угодник, и там – медведи. Ближе сереется деревня, словно дрожит на воздухе. Так бывает в жары, от пара. Сияет-дрожит над ней белая, как из снега, колокольня, с блистающим золотым крестом. Это и есть Мытищи. Воздух – густой, горячий, совсем медовый, с согревшихся на лугах цветов. Слышно жужжанье пчелок.

Мы стоим на лужку, у речки. Вся она в колком блеске из серебра, и чудится мне: на струйках играют-сверкают крестики. Я кричу:

– Крестики, крестики на воде!..

И все говорят на речку:

– А и вправду... с солнышка крестики играют словно!

Речка кажется мне святой. И кругом все – святое.

Богомольцы лежат у воды, крестятся, пьют из речки пригоршнями, мочат сухие корочки. Бедный народ все больше в сермягах, в кафтанишках, есть даже в полушубках, с за-

платками, – захватила жара в дороге, – в лаптях и в чунях, есть и совсем босые. Перематывают онучи, чистятся, спят в лопухах у моста, настеживают крапивой ноги, чтобы пошли ходчей. На мосту сидят с деревянными чашками убогие и причитают:

– Благоде-тели... ми-лостивцы, подайте святую милостинку... убогому-безногому... родителей-сродников... для-ради Угодника, во телоздравие, во душеспасение...

Анюта говорит, что видела страшного убогого, который утюгами загребал, полз на коже, без ног вовсе, когда я спал. И поющих слепцов видали. Мне горько, что я не видел, но Горкин утешает – всего увидим у Троицы, со всей Росеи туда сползаются. Говорят – вон там какой болезный!

На низенькой тележке, на дощатых катках-колесках, лежит под дерюжиной паренек, ни рукой, ни ногой не может. Везут его старуха с девчонкой из-под Орла. Горкин кладет на дерюжину пятак и просит старуху показать – душу пожалобить. Старуха велит девчонке поднять дерюжку. Подымаются с гулом мухи и опять садятся сосать у глаз. От большого ужасный запах. Девчонка веткой сгоняет мух. Мне делается страшно, но Горкин велит смотреть.

– От горя не отворачивайся... грех это!

В ногах у меня звенит, так бы и убежал, а глядеть хочется. Лицо у парня костлявое, как у мертвеца, все черное, мутные глаза гноятся. Он все щурится и моргает, силится прогнать мух, но мухи не слетают. Стонет тихо и шепчет засох-



шими губами: «Дунька... помочи-и...» Девчонка вытирает ему рот мокрой тряпкой, на которой присохли мухи. Руки у него тонкие, лежат, как плети. В одной вложен деревянный крестик, из лучинок. Я смотрю на крестик, и хочется мне заплакать почему-то. На холщовой рубаше парня лежат копейки. Федя кладет ему гривенничек на грудь и крестится. Парень глядит на Федю жалобно так, как будто думает, какой Федя здоровый и красивый, а он вот и рукой не может. Федя глядит тоже жалобно, жалеет парня. Старуха рассказывает так жалостно, все трясет головой и тычет в глаза черным, костлявым кулачком, по которому сбегаят слезы:

– Уж такая беда лихая с нами... Сено, кормилец, вез да заспал на возу-то... на колдобоине упал с воза, с того и по-притчилось, кормилец... третий год вот все сохнет и сохнет. А хороший-то был какой, бе-э-лый да румяный... табе не хуже!

Мы смотрим на Федю и на парня. Два месяца везут, сам запросился к Угоднику, во сне видал. Можно бы по чугунке, телушку бы продали, Господь с ней, да потрудиться надо.

– И все-то во снах видит... – жалостно говорит старуха, – все говорит-говорит: «Все-то я на ногах бегаю да сено на воз кидаю!»

Горкин в утешение говорит, что по вере и дается, а у Господа нет конца милосердию. Спрашивает, как имя: просвирку вынет за здравие.

– Михайлой звать-то, – радостно говорит старушка. – Ми-

шенькой зовем.

– Выходит – тезка мне. Ну, Миша, молись – встанешь! – говорит Горкин как-то особенно, кричит словно, будто ему известно, что парень встанет.

Около нас толпятся богомольцы, шепотом говорят:

– Этот вот старичок сказал, уж ему известно... обязательно, говорит, встанет на ноги... уж ему известно!

Горкин отмахивается от них и строго говорит, что Богу только известно, а нам, грешным, веровать только надо и молиться. Но за ним ходят неотступно и слушают-ждут, не скажет ли им еще чего, – «такой-то ласковый старичок, все знает!».

Федя тащит ведро с речки – поит Кривую. Она долго сосет – не оторвется, а в нее овода впиваются, прямо в глаз, – только помаргивает – сосет. Видно, как у ней раздуваются бока и на них вздрагивают жилы. Я кричу – вижу на шее кровь:

– Кровь из нее идет, жила лопнула!..

Алой струйкой, густой, растекается на шее у Кривой кровь. Антипушка стирает лопушком и сердится:

– А, сте-рва какая, прокусил, гад!.. Вон и еще... гляди, как искровянили-то лошадку оводишки... а она пьет и пьет, не чует!..

Говорят – это ничего, в такую жарынь полезно, лошадка-то больно сытая, – «им и сладко». А Кривая все пьет и пьет, другое ведро просит. Антипушка говорит, что так

не пила давно, – пользительная вода тут, стало быть. И все мы пьем, тоже из ведерка. Вода ключевая, сладкая: Яуза тут родится, от родников, с-под горок. И Горкин хвалит: прямо чисто с гвоздей вода, ржавчиной отзывается, с пузырьками даже, – верно, через железо бьет. А в Москве Яуза черная да вонючая, не подойдешь, – потому и зовется – Яуза-Грязуза! И начинает громко рассказывать, будто из священного читает, а все богомольцы слушают. И подводчики с моста слушают – кипы везут на фабрику и приостановились.

– Так и человек. Родится дитё чистое, хорошее, ангельская душка. А потом и обгрязнится, черная станет да вонючая, до смрада. У Бога все хорошее, все-то новенькое да чистенькое, как те досточка строгана... а сами себя поганим! Всякая душа, ну... как цветик полевой-духовитый. Ну, она, понятно, и чует – поганая она стала, – и тошно ей. Вот и потянет ее в баньку духовную, во глагольную, как в Писаниях писано: «В баню водную, во глагольную»! Потому и идем к Преподобному – пообмыться, обчиститься, совлечься от грязи-вони...

Все вздыхают и говорят:

– Верно говоришь, отец... ох, верно!

А Горкин еще из священного говорит, и мне кажется, что его считают за батюшку: в белом казакинчике он, будто в подряснике, – и так мне приятно это. Просят и просят:

– Еще поговори чего, батюшка... слушать-то тебя хорошо, разумно!..

На берегу, в сторонке, сидят двое, в ситцевых рубахах, пьют из бутылки и закусывают зеленым луком. Это, я знаю, плохие люди. Когда мы глядели парня, они кричали:

– Он вот водочки вечером хватит на пятаки-то ваши... сразу исцелится, разделает комаря... таких тут много!

Горкин плюнул на них и крикнул, что нехорошо так охальничать, тут горе человеческое. А они все смеялись. И вот когда он говорил из священного, про душу, они опять стали насмехаться:

– Ври-ври, седая крыса! Чисть ее, душу, кирпичом с водочкой, чище твоей лысины заблестит!

Так все и ахнули. А подводчики кричат с моста:

– Кнутьями их, чертей! Такие вот наемдны у нас две кипы товару срезали!..

А те смеются. Горкин их укоряет, что нельзя над душой охальничать. И Федя даже за

Горкина заступился, – а он всегда очень скромный. Горкин его зовет – «красная девица ты прямо!». И он даже укорять стал:

– Нехорошо так! Не наводите на грех!..

А они ему:

– Молчи, монах! В триковых<sup>7</sup> штанах!..

Ну, что с таких взять: охальники!

Один божественный старичок, с длинными волосами, мочит ноги в речке и рассказывает, какие язвы у него на ногах

---

<sup>7</sup> Трико – вид ткани, похожей на чулочное вязанье; ткань с косой ниткой.

были, черви до кости проточили, а он летось помыл тут ноги с молитвой, и все-то затянуло, – одни рубцы. Мы смотрим на его коричневые ноги: верно, одни рубцы.

– А наперед я из купели у Троицы мочил, а тут доправилось. Будете у Преподобного, от Златого Креста с молитвою испейте. И ты, мать, болящего сына из-под Креста помой, с верой! – говорит он старушке, которая тоже слушает. – Преподобный кладезь тот копал, где Успенский собор, – и выбило струю, под небо!

Опосля ее крестом накрыли. Так она скрозь тот крест проелась, прыщет во все концы, – чудо-расчудо.

Все мы радостно крестимся, а те охальники и кричат:

– Надувают дураков! Водопровод-напор это, нам все, сресям, видно... дураки степные!

Старичок им прямо:

– Сам ты водопровод-напор!

И все мы им грозимся и посошками машем:

– Не охальничайте! Веру не шатайте, шатущие!..

И Горкин сказал: «Пусть хоть и распроводопровод, а через крест идет... и водопровод от Бога!» А один из охальников допил бутылку, набулькал в нее из речки и на нас – плеск из горлышка, крест-накрест!

– Вот вам мое кропило! Исцеляйся от меня по пятаку с рыла!..

Так все и ахнули. Горкин кричит:

– Анафема вам, охальники!..

И все богомольцы подняли посошки. И тут Федя – пиджак долой, плюнул в кулаки да как ахнет обоих в речку, – пятки мелькнули только. А те вынырнули по грудь и давай нас всякими-то словами!.. Анюта спряталась в лопухи, и я перепугался, а подводчики на мосту кричат:

– Ку-най их, ку-най!

Федя как был в лаковых сапогах, – к ним в реку и давай их за волосы трепать и окунать. А мы все смотрели и крестились. Горкин молит его:

– Федя, не утопи... смирись!..

А он прямо с плачем кричит, что не может позволить Бога поносить, и все их окунал и по голове стучал. Тогда те стали молить – отпустить душу на покаяние. И все богомольцы принялись от радости бить посошками по воде, а одна старушка упала в речку, за мешок уж ее поймали – вытащили. А Федя выскочил из воды, весь бледный, – ив лопухи. Я смотрю – стягивает с себя сапоги и брюки и выходит в розовых панталонах. И все его хвалили. А те, охальники, выбрались на лужок и стали грозить, что сейчас приятелей позовут, мытищинцев, и всех нас перебьют ножами. Тут подводчики кинулись за ними, догнали на лужку и давай стегать кнутьями. А когда кончили, подошли к Горкину и говорят:

– Мы их дюже попарили, будут помнить. Их бы воротяжкой<sup>8</sup> надоть, чем вот воза прикручиваем!.. Басловите нас, ба-

---

<sup>8</sup> *Воротяжка* – тонкое бревно, которым навивают веревки для прикручивания клади на возах.

тюшка.

Горкин замахал руками, стал говорить, что он не сподоблен, а самый простой плотник и грешник. Но они не поверили ему и сказали:

– Это ты для простоты укрываешься, а мы знаем.

Тележка выезжает на дорогу. Федя несет сапоги за ушки, останавливается у больного парня, кладет ему в ноги сапоги и говорит:

– Пусть носит за меня, когда исцелится.

Все ахают, говорят, что это уж указание ему такое и парень бесприменно исцелится, потому что сапоги эти не простые, а лаковые, не меньше как четвертной билет, – а не пожалел! Старуха плачет и крестится на Федю, причитает:

– Родимый ты мой, касатик-милостивец... хорошую невесту Господь те пошлет...

А он начинает всех оделять баранками и всем кланяется и говорит смиренно:

– Простите меня, грешного... самый я грешный.

И многие тут плакали от радости, и я заплакал. Ищем Домну Панферовну, а она храпит в лопухах, – так ничего и не видала. Горкин ей еще попенял:

– Здоровая ты спать, Панферовна... так и царство небесное проспишь. А тут какие чудеса-то были!..

Очень она жалела, всех чудесов-то не видала.

Идем по тропкам к Мытищам. Я гляжу на Федины ноги,

какие они белые, и думаю, как же он теперь без сапог-то будет. И Горкин говорит:

– Так, Федя, и пойдешь босо, в розовых? И что это с тобой делается? То щеголем разрядился, а то... Будто и не подходит так... в тройке – и босой! Люди засмеют. Ты бы уж неприглядней как...

– Я теперь, Михайла Панкратыч, уж все скажу... – говорит Федя, опустив глаза. – Лаковые сапоги я нарочно взял – добивать, а новую тройку – тридцать рублей стоила! – дотрепать. Не нужно мне красивое одеяние и всякие радости. А тут и вышло мне указание.

Пришлось стаскивать сапоги, а как увидал болящего, меня в сердце толкнуло: отдай ему! И я отдал, развязался с сапогами. Могу простые купить, а то и тройку продам для нищих или отдам кому. Я с тем, Михайла Панкратыч, и пошел, чтобы не ворочаться. Давно надумал в монастыре остаться, как еще Саня Юрцов в послушники поступил...

И вдруг подпрыгнул – на сосновую шишечку попал, – от непривычки. Горкин разохался:

– В монасты-ырь?! Да как же так... да меня твой старик загрызет теперь... ты, скажет, смутил его!

– Да нет, я ему письмо напишу, все скажу. По солдатчине льготный я, и у папаша Митя еще останется, да, может, еще и не примут, чего загадывать.

– Да Саня-то заика природный, а ты парень больно кудряв-красовит, – говорит Домна Панферовна, – на соблазн



только, в монахи-то! Ну, возьмут тебя в певчие, и будут на тебя глаза пялить... нашу-то сестру взять.

– И горяч ты, Федя, подивился я нонче на тебя... – говорит Горкин. – Ох, подумай-подумай, дело это не легкое, в монастырь!..

Федя идет задумчиво, на свои ноги смотрит. Пыльные они стали, и Федя уже не прежний будто, а словно его обидели, наказали, – затрапезное на него надели.

– Благословлюсь у старца Варнавы, уж как он скажет. А то, может, в глухие места уйду, к валаамским старцам...

Он сворачивает в канавку у дороги и зовет нас с Анютой:

– Глядите, милые... земляничка-то Божия, первенькая!

Мы подбегаем к нему, и он дает нам по веточке земляничек, красных, розовых и еще неспелых – зеленовато-белых. Мы встряхиваем их тихо, любуемся, как они шуршат, будто позванивают, не можем налюбоваться, и жалко съесть. Как они необыкновенно пахнут! Федя шурхает по траве, босой, и все собирает, собирает и дает нам. У нас уже по пукетику, всех цветов, ягодки так дрожат... Пахнет так сладко, свежо – радостным богомольем пахнет, сосенками, смолой... И до сего дня помню радостные те ягодки, на солнце, – душистые огоньки, живые.

Мы далеко отстали, догоняем. Федя бежит, подкидывает пятки, совсем как мы. Кричит весело Горкину:

– Михайла Панкратыч... гостинчику! Первая земляничка Божья!..

И начинает оделять всех, по веточке, словно раздает свечки в церкви. Антипушка берет веточку, радуется, нюхает ягодки и ласково говорит Феде:

– Ах ты, душевный человек какой... простота ты. Такому в миру плохо, тебя всякий дурак обманет. Видать, так уж тебе назначено, в монахи спасаться, за нас Богу молиться. Чистое ты дитё вот.

Горкин невесел что-то, и всем нам грустно, словно Федя ушел от нас.

А вот и Мытищи, тянет дымком, навозом. По дороге навоз валяется: возят в поля, на пар. По деревне дымки синеют. Аня кричит:

– Ма-тушки... самоварчики-то золотенькие по улице, как тумбочки!..

Далеко по деревне, по сторонам дороги, перед каждым как будто домом, стоят самоварчики на солнце, играют блеском, и над каждым дымок синеет. И далеко так видно – по обе стороны – синие столбики дымок.

– Ну, как тут чайку не попить!.. – говорит Горкин весело, – уж больно парадно принимают... самоварчики-то стоят, будто солдатики. Домна Панферовна, как скажешь? Попьем, что ли, а? А уж серчать не будем.

– Ты у нас голова-то... а закусить самая пора... будто пирогами пахнет?..

– Самая пора чайку попить – закусить... – говорит и Ан-

типушка. – Ах, благодать Господня... денек-то Господь послал!..

И уж выходят навстречу бабы, умильными голосками зовут:

– Чайку-то, родимые, попейте... пристали, чай?..

– А у меня в садочке, в малинничке-то!..

– Родимые, ко мне, ко мне!.. Летошний год у меня пивали... и смородинка для вас поспела, и...

– Из луженого-то моего, сударики, попейте... у меня и медок нагдышний<sup>9</sup>, и хлебца тепленького откушайте, только из печи вынула!..

И еще, и еще бабы, и старухи, и девочки, и степенные мужики. Один мужик говорит уверенно, будто уж мы и порадились:

– В сарае у меня поотдохнете, попить-то... жара спадет. Квасу со льду, огурцов, капустки, всего по постному делу есть. Чай на лужку наладим, на усадьбе, для апекиту... от духу задохнешься! Заворачивайте без разговору.

– Дом хороший, и мужик приятный... и квасок есть, на что уж лучше... – говорит Горкин весело. – Да ты не Соломяткин ли будешь, будто кирпич нам важивал?

– Как же не Соломяткин! – вскрикивает мужик. – Спокон веку все Соломяткин. Я и Василь Василича знаю, и тебя узнал. Ну, заворачивайте без разговору.

– Как Господь-то наводит! – вскрикивает и Горкин. – Му-

---

<sup>9</sup> Недавно накачанный (нар.).

жик хороший, и квас у него хозяйственный. Вон и садик, смородинки пощипите, – говорит нам с Анютой, – он дозволит. Да как же тебя не помнить... царю родня! Во куда мы попали, как раз насупротив Карцовихи самой, дом вон дву-ярусный, цел все...

– А пощипите, зарозовела смородинка, – говорит мужик. – Верно, что сродни будто Лек-сандрe Николаевичу... – смеется он, – братьё, выходит.

– Как – братьё?! – с удивлением говорит Антипушка; и я не верю, и все не верят.

– А вот так, братьё! Вводи лошадку без разговору.

Мужик распахивает ворота, откуда валит навозный дух. И мешается с ним медовый, с задов деревни, с лужков горячих, и духовито горький, церковный будто, – от самоварчиков, с пылких сосновых шишек.

– Ах, хорошо в деревне!.. – воздыхает Антипушка, потягивая в себя теплый навозный дух. – Жить бы да жить... Нет, поеду в деревню помирать.

Пока отпрягают Кривую и ставят под ветлы в тень, мы лежим на прохладной травке-мурав-ке и смотрим в небо, на котором заснули редкие облачка. Молчим, устали. Начинает клонить ко сну...

– А ну-ка кваску, порадуем Москву!.. – вскрикивает мужик над нами, и слышно, как пахнет квасом.

В руке у мужика запотевший каменный кувшин, красный; в другой – деревянный ковш.

– Этим кваском матушка, покойница, царевича поила... хвалил-то как!

Пенится квас в ковше, сладко шипят пузырьки, – и кажется все мне сказкой.

## На святой дороге

– Хорош квасок, а прокложаться нечего, – торопит Горкин, – закусим – да и с Богом. Пушкино пройдем, в Братовщине ночуем. Сколько до Братовщины считаете?

– Поспеете, – рыгает мужик в кувшин. – Шибает-то как сердито! Чернослиvinу припушаю. На цветочки пойдемте, на усадьбу. Пни там у меня, не хуже креслов.

Идем по стежке, в жарком, медовом духе. Гудят пчелы. Горит за плетнем красными огоньками смородина. В солнечной полосе под елкой, где чернеют грибами улья, поблескивают пчелы. Антипушка радуется – сенцо-то, один цветок! Ромашка, кашка, бубенчики... Горкин показывает: морковник, купырники, свербика, белогол овничек. Мужик ерошит траву ногой – гуще каши! Идем в холодок, к сараю, где се-реют большие пни.

– Французы на них сидели! – говорит мужик. – А сосна, может, и самого Преподобного видала.

Дымит самовар на травке. Антипушка с Горкиным делают мурцовку: мнут толкушкой в чашке зеленый лук, кладут кислой капусты, редьки, крошат хлеба, поливают конопляным маслом и заливают квасом. Острый запах мурцовки мешается с запахом цветов. Едим щербатыми ложками, а Федя грызет сухарик.

– Молодец-то чего же не хлебает? – спрашивает мужик.

Говорим – в монахи собирается, постится. Начинает хлебать и Федя.

– То-то, гляжу, чудной! Спинжак хороший, а в гульчиках и босой... а ноги белы. В монахи – а битюга повалит.

Горкин говорит: как кому на роду написано, такими-то и стоит земля. Мужик вздыхает: у Бога всего много. Федя просит, нет ли сапог поплоче, а то смеются. Идет за сарай и выходит в брюках, почесывает ноги: должно быть, крапивой обстрекался. Мужик говорит, что сапоги найдутся.

Пьем чай на траве, в цветах. Пчелки валяются в кипяток – столько их! От сарая длиннее тень. Домну Панферовну разморило, да и всем дремлется – не хочется и смородинки пощипать. Мужик говорит, что с квасу это.

– С квасу моего ноги снут. Старуха моя в Москву к дочке поехала, а то бы она вас «мартовским» попотчевала бы... в ледку у ней засечен. Давеча ты сказал – богато живу... – говорит мужик Горкину. – Бога не погневлю: есть чего пожевать, на чем полежать. Сыны в Питере, при дворцах, как гвардию отслужили, живут хорошо. Хлеба даром и я не ем. А богомольцев не из корысти принимаю, а нельзя обижать Угодника. Спокон веков, от родителей. Дорога наша святая, по ней и цари к Преподобному ходили. В давни времена мы солому заготовляли под царей, с того и Соломяткины. У нас и Сбитневы есть, и Пироговы. Мной, может, и покончится, а закон додержу. Кака корысть! Зимой – метель на дворе, на печь давно пора, а тут старушку Божию принесло, клюшкой

стучит в окошко – «пустите, кормильцы, заночевать!». Иди. Святое дело, от старины. Может, Господь заплатит.

Говорит он важно, бороду все поглаживает. Борода у него широкая. Лицом строгий, а глаза добрые. И такой чистый, в белой рубаше с крапичкой. Горкин спрашивает, как это он – «царев брат»?

– Дело это знаменитое. Сама Авдотья Гавриловна Карцова рассказывала, дом-то ее насупротив, в два яруса. Так началось. Как господа от француза из Москвы убегали на Ярославль, тут у нас гону было!.. Вот одна царская генеральша, вроде принцесса, и поломайся. Карета ее, значит. Напротив дома Карцовых, оба колеса. Дуняше тогда семнадцатый год шел, а уже ребеночка кормила. Ну, помогла генеральше вылезть из кареты. Та ее сразу и полюбила, и пристала у них, пока карету починяли. Писаная красавица была Дуняша, из изборов изборо! А у генеральшиной дочки со страхов молоко пропало, дитё кричит. Дуняша и стань его кормить, молошная была. Высокая была, и все расположение ее было могущественное, троих выкормит. Генеральша и упростила ее с собой, мужу капитал выдала. Прихватила своего и поехала с царской генеральшей. Воротилась через год, в лисьей шубе, и повадка у ней уж благородная набилась. С матушкой моей подружки были. Я в шинадцатом родился, а у матушки от горячки молоко сгорело... Дуняша и стала меня кормить со своим, в молоке была. Я ее так и звал – мама Дуня. А в восемнадцатом годе и случилось... Губернатор с казака-



ми прискакал, и в бумаге приказ от царской генеральши – с молоком ли Дуня Карцова? А она две недели только родила. Прямо ее в Москву на досмотр помчали. А там уж царская генеральша ждет. Обласкала ее, обдарила... А царь тогда Александр Первый был, а у него брат Миколай Павлыч. Вот у Миколай-то Павлыча сын родился, а что уж там – не знаю, а только кормилку надо достоверную искать по всему царству-государству. Царская генеральша и похвались: достану такую... из изборов избор. Значит, на какой она высоте-то была, генеральша! Доктора ее обглядели во всех статьях – говорят: лучше нельзя и требовать. И помчала ее та генеральша с дитей ее в карете меховой-золотой, с зеркалками... с энтими вот, на запятках-то... помчали стрелой без передыху, как птицы, и кругом казаки с пиками... В два дни в Питер к самому дворцу примчали. А Дуняша дрожит, Богу молит, как бы чего не вышло. Дитю ее кормилку взяли... Ну, она тайком его кормила, ее генеральша под секретом по какой-то лестнице с винтом вываживала. Сперва в баню, промыли-прочесали, духами душили, одели в золото-серебро, в каменя, кокошник огромный... Как показали ее всей царской фамилии – шабаш, из изборов избор! Сам Миколай Павлыч ее по щеке поласкал, сказал: «Как Расея наша! Корми Сашу моего, чтобы здоровый был». А царевич криком кричит, своего требует: молочка хочу! Как его припустили ко груди-то... к нашей, сталоть, мытищинской-деревенской, шабаш! Не оторвешь, что хошь. Сперва-то она дрожала с пе-

репугу, а там обошлась. Три генеральши в шестеро глаз глядели, как она дитё кормила, а царская генеральша над ними главная. А целовать — ни-ни! «А я, — говорит, — наклонюсь, будто грудь выправить, и приложусь!» Сама мне сказывала. Как херувинчик был, весь-то в кружевках. И корм ей шел отборный, и питье самое сладкое. И при ней служанки — на все. Вот и выкормила нам Лександру Миколаича, он всех крестьян-то и ослободил. Молочко-то... оно свое сказало! Задарили ее, понятно, наследники большую торговлю в Москве имеют. Царевич как к Троице поедет — к ней заезжал. Раз и захотись пить ему, жарко было. Она ему — миг! «Я тебя, батюшка, кваском попотчую, у моей подружки больно хорош». А матушка моя квас творила... — всем квасам квас! И послала к матушке. Погнала меня матушка, побег я с кувшином через улицу, а один генерал, с бачками, у меня и выхвати кувшин-то! А царевич и увидь в окошко — и велел ему допустить меня с квасом. Она-то уж ему сказала, что я тоже ее выкормыш. А уж я парень был, повыше его. Дошел к нему с квасом, он меня по плечу: «Богатырь ты!» И смеется: «Братец мне выходишь?» Я заробел, молчу. Велел выдать мне рубль серебра, крестовик. А генералы весь у меня кувшин роспили и сигарками заугощали. Во каким я вас квасом-то угостил! А как ей помирать, в сорок пятом годе было... за год, что ль, заехал к корми л ке своей, а она ему на росстанях и передала башмачки и шапочку, в каких его крестили. Припрятано у ней было. И покрестила его, чу-

яла, значит, свою кончину. Хоронили с альхереем, с певчими, в облачениях-разоблачениях... У нас и похоронёна, памятник богатый, с золотыми словами: «Лежит погребёно тело... Московской губернии крестьянки Авдокеи Гавриловны Карцовой... души праведные упокоятся»...

Слушаю я – и кажется все мне сказкой.

Горкин утирает глаза платочком. Пора и трогаться.

– Каки Мытищи-то, – говорит он растроганно, – и на святой дороге! Утешил ты нас.

Будешь кирпич возить – заходи чайку попить.

Соломяткин дает мне с Анютой по пучочку смородины. Отдает Феде за целковый старые сапоги, жесткие, надеть больно. Федя говорит – потерплю. За угощение Соломяткин не берет и велит поклонник Василь Василичу. Провожает к дороге, показывает на дом царской кормилицы, пустой теперь, и хвалит нашу тележку: никто нонче такой не сделает! Горкин велит Феде записать – просвирку вынуть за упокой рабы Божией Евдокеи и за здравие Антропа. Соломяткин благодарит и желает нам час добрый.

Солнце начинает клониться, но еще жжет. Темные боры придвинулись к дороге частой еловой порослью. Пышет смолистым жаром. По убитым горячим тропкам движутся богомольцы – одни и те же. Горкин похрамывает, говорит – квас это на ноги садится, и зачем-то трясет ногой. На полянке, в елках, он приседает и говорит тревожно: «Что-то у меня с ногой неладно?» Велит Феде стащить сапог. Нога у него си-

няя, жилы вздулись. Он валится и тяжело вздыхает. Мы жалостливо стоим над ним. Антипушка говорит – не иначе, надо его в тележку. Горкин отмахивается – хоть ползком, а доберется, по обещанию. Антипушка говорит – кровь бы ему пустить, в Пушкине бабку найдем, либо коновала. Горкин охает: «Не сподобляет Господь... за грех мой!» Мечется головой по иглам, жарко ему, должно быть. А от ельника – как из печи. И все стонет:

– За ква-ас на сухариках обещался потрудиться, а мурцовки захотел, для мамону... квасом Господь покарал...

Домна Панферовна кричит:

– Кровь у тебя замкнуло, по жиле вижу! Какую еще там бабку... сейчас ему кровь спущу!..

И начинает ногтем строгать по жиле и разминать. Горкин стонет, а она на него кричит: – Что-о?... Храбрился, а вот и пригодилась Панферовна! Ничего-о, я тебя сразу подыму, только дайся!

И вынимает из саквояжа мозольный ножик и тряпочку. Горкин стонет:

– Цирульник... Иван Захарыч... без резу пользовал... пивки, Домнушка, приставлял...

– Ну, иди к своему цирульнику, «без резу»!.. Ты меня слушай... я тебе сейчас черную кровь спущу, дурную... а то жила лопнет!..

Горкин все не дается, охает:

– Ой, погоди... ослабну, не дойду... не дамся нипочем,

ослабну...

Домна Панферовна машет на него ножиком и кричит, что ни за что помрет, а она это дело знает – чикнет только разок! Горкин крестится, глядит на меня и просит:

– Маслицем святым... потрите из пузырьчика, от Пантелеймона... сам Ераст Ерастыч без резу растирал...

А это доктор наш. Домна Панферовна кричит: «Ну, я не виновата, коли помрешь!» – берет пузырек и начинает тереть по жиле. Я припадаю к Горкину и начинаю плакать. Он меня гладит и говорит:

– А Господь-то... воля Господня... помолись за меня, ко-сатик.

Я пробую молиться, а сам смотрю, как трет и строгают ногтем Домна Панферовна, вся в поту. Кричит на Федю, который все крестится на елки:

– Ты, молеельщик... лапы-то у тебя... три тужей!

Федя трет изо всей-то мочи, словно баранки крутит. Горкин постанывает и шепчет:

– У-ух... маленько поотпустило... у-ух... много легче... жила-то... словно на место встала... маслице-то как... работает... Пантелеймон-то... батюшка... что делает...

Все мы рады. Смотрим – нога краснеет. Домна Панферовна говорит:

– Кровь опять в свое место побегла... ногу-то бы задрать повыше.

Стаскивают мешки и подпирают ногу. Я убегаю в елки и

плачу-плачу, уже от радости. Гляжу – и Анюта в елках, ревет и шепчет:

– Помрет старик... не дойдем до Троицы... не увидим!..

Я кричу ей, что Горкин уж водит пальцами и нога красная, настоящая. Бегу к Горкину, а слезы так и текут, не могу унять. Он поглаживает меня, говорит:

– Напугался, милочек?.. Бог даст, ничего... дойдем к Угоднику.

Мне делается стыдно: будто и оттого я плачу, что не дойдем.

А кругом уже много богомольцев, и все жалеют:

– Старичок-то лежит, никак отходит?..

Кто-то кладет на Горкина копейку; кто-то советует:

– Лик-то, лик-то ему закрыть бы... легче отойдет-то!

Горкин берет копеечку, целует ее и шепчет:

– Господня лепта... сподобил Господь принять... в гроб с собой скажу положить...

Шепчутся-крестятся:

– Гроба просит... душенька-то уж чует...

Антипушка плюется, машет на них:

– Чего вы каркаете, живого человека хороните?!

Горкин крестится и начинает приподыматься. Гудят-ахают:

– Гляди-ты, восстал старик-то!..

Горкин уже сидит, подпирается кулаками сзади, – повеселел.

– Жгет маленько, а боли такой нет... и пальцами владею... – говорит он, и я с радостью вижу, как кланяется у него большой палец. – Отдохну маленько – и пойдем. До Братовщины ноне не дойти, в Пушкине заночуем уж.

– Сядь на тележку, Горкин!.. – упрасиваю я, – я грех на себя возьму!

То, что сейчас случилось, – вздохи, в которых боль, тревожно ищущий слабый взгляд, испуганные лица, Федя, крестящийся на елки, копеечка на груди – все залегло во мне острой тоской, тревогой. И эти слова – «отходит... лик-то ему закрыть бы...». Я держу его крепко за руку. Он спрашивает меня:

– Ну, чего дрожишь, а? Жалко меня стало, а?..

И сухая, горячая рука его жмет мою.

Солнце невысоко над лесом, жара спадает. Вон уж и Пушкино. Надо перейти Учю и подняться: Горкин хочет заночевать у знакомого старика, на той стороне села. Федя поддерживает его и сам хромает – намяли сапоги ногу. Переходим Учю по смолянному мосту. В овраге засвежело, пахнет смолой, теплой водой и рыбой. Выше еще тепло, тянет сухим нагретом, еловым, пряным. Стадо вошло в деревню, несутся табунками овцы, стоит золотая пыль. Избы багряно золотятся. Ласково зазывают бабы:

– Чай, устали, родимые, ночуйте... свежего сенца постелим, ни клопика, ни мушки!.. Ночуйте, право?..

Знакомый старик – когда-то у нас работал – встречает с самоваром. Нам уже не до чаю. Федя с Антипушкой устраивают Кривую под навесом и уходят в сарай на сено. Домна Панферовна с Анютой ложатся на летней половине, а Горкину потеплей надо. В избе жарко: сегодня пекли хлебы. Старик говорит:

– На полу уж лягте, на сенничке. Кровать у меня богатая, да беда... клопа сила, никак не отобьешься. А тут как в раю вам будет.

Он приносит бутылочку томленных муравейков и советует растереть, да покрепче, ногу. Домна Панферовна старательно растирает, потом заворачивает в сырое полотенце и кутает крепко войлоком. Остро пахнет от муравьев, даже глаза дерет. Горкин благодарит:

– Вот спасибо тебе, Домнушка, заботушка ты наша. Прости уж за утрешнее.

Она ласково говорит:

– Ну, чего уж... все-то мы кипятки. Старик затепливает лампадку, покрехтывает. Говорит:

– Вот и у меня тоже кровь запирает. Только муравейками и спасаюсь. Завтра, гляди, и хромать не будешь.

Они еще долго говорят о всяких делах. За окошками еще светло, от зари. Шумят мухи по потолку, черным-то черно от них.

Я просыпаюсь от жгучей боли, тело мое горит. Кусают му-



хи? В зеленоватом свете от лампадки я вижу Горкина: он стоит на коленях, в розовой рубашке, и молится. Я плачу и говорю ему:

– Го-ркин... мухи меня кусают, бо-льно...

– Спи, косатик, – отвечает он шепотом, – какие там мухи, спят давно.

– Да нет, кусают!

– Не мухи... это те, должно, клопики кусают. Изба-то зимняя. С потолка, никак, валятся, ничего не поделаешь, а ты себе спи – и ничего, заспишь. Ай к Панферовне те снести, а? Не хочешь... Ну, и спи, с Господом.

Но я не могу заснуть. А он все молится.

– Не спишь все... Ну, иди ко мне, поддевичкой укрою. Согреешься – и заснешь. С головкой укрою, клопики и не подберутся. А что, испугался за меня давеча, а? А ноге-то моей совсем легче, согрелась с муравейков. Ну, что... не кусают клопики?

– Нет. Ножки только кусают.

– А ты подождись, они и не подберутся. А-ах, Господи... прости меня, грешного... – зевает он.

Я начинаю думать – какие же у него грехи? Он прижимает меня к себе, шепчет какую-то молитву.

– Горкин, – спрашиваю я шепотом, – какие у тебя грехи? Грех, ты говорил... когда у тебя нога надулась?..

– Грех-то мой... Есть один грех, – шепчет он мне под одеялом, – его все знают, и по закону отбыл, а... С батюшкой

Варнавой хочу на духу поговорить, пооблегчиться. И в суде судили, и в монастыре два месяца на покаянии был. Ну, скажу тебе. Младенец ты, душенька твоя чистая... Ну, работали мы на стройке, семь лет скоро. Гриша у меня под рукою был, годов пятнадцати, хороший такой. Его отец мне препоручил в люди вывести. А он, сказать тебе, высоты боялся. А какой плотник, кто высоты боится! Я его и приучал: ходи смелей, не бойсь! Раз понес он дощонку на второй ярусок – и стал. «Боюсь, – говорит, – дяденька, упаду... глаза не глядят!» А я его, сталоть, постращал: «Какой ты, дурачок, плотник будешь, такой высоты боишься? Полежай!» Он ступанул – да и упади с подмостьев! Три аршинчика с пядью всей и высоты-то было. Да на кирпичи попал, ногу сломал. Да, главное дело, грудью об кирпичи-то... кровью стал плевать, через годок и помер. Вот мой грех-то какой. Отцу-матери его пятерку на месяц посылаю, да папашенька красенькую дают. Живут хорошо. И простили они меня, сами на суду за меня просили. Ну, церковное покаяние мне вышло, а то сам суд простил. А покаяние для совести, так. А все что-то во мне томится. Как где услышу, Гришей кого покличут, – у меня сердце и похолодает. Будто я его сам убил... А? Ну, чего душенька твоя чувствует, а?... – спрашивает он ласково и прижимает меня сильней.

У меня слезы в горле. Я обнимаю его и едва шепчу:  
– Нет, ты не убил... Го-ркин, милый... ты добра ему хотел...

Я прижимаюсь к нему и плачу, плачу. Усталость ли от волнений дня, жалко ли стало

Горкина – не знаю. Неужели Бог не простит его и он не попадет в рай, где души праведных упокоятся? Он зажигает огарок, вытирает рубахой мои слезы, дает водицы.

– Спи – с Господом, завтра рано вставать. Хочешь, к Антипушке снесу, на сено? – спрашивает он тревожно.

Я не хочу к Антипушке.

В избе белеет; перекликаются петухи. Играет рожок, мычат коровы, щелкает крепко кнут. Под окном говорит Антипушка: «Пора бы и самоварчик ставить». Горкин спит на спине, спокойно дышит. На желтоватой его груди, через раскрывшуюся рубаху видно, как поднимается и опускается от дыхания медный, потемневший крестик. Я тихо подымаюсь и подхожу к окошку, по которому быются с жужжаньем мухи. Антипушка моет Кривую и трет суконкой, как и в Москве. По той и по нашей стороне уже бредут ранние богомольцы, по холодку. Так тихо, что и через закрытое окошко слышно, как шлепают и шуршат их лапти. На зеленоватом небе – тонкие снежные полосы утренних облачков. На моих глазах они начинают розоветь и золотиться – и пропадать. Старик, не видя меня, пальцем стучит в окошко и кричит сипло: «Эй, Панкратыч, вставай!»

– Наказал будить, как скотину погонят, – говорит он Антипушке, зевая. – Зябнется по заре-то... а, гляди, опять нон-

че жарко будет.

Меня начинает клонить ко сну. Я хочу полежать еще, обращаюсь и вижу: Горкин сидит под лоскутным одеялом и улыбается, как всегда.

— Ах ты, ранняя пташка... — весело говорит он. — А нога-то моя совсем хорошая стала. Ну-ко, открой окошечко.

Я открываю — и красная искра солнца из-за избы напротив ударяет в мои глаза.

## У Креста

Я сижу на завалинке и смотрю – какая красивая деревня! Соломенные крыши и березы – розово-золотистые, и розовые куры ходят, и розоватое облачко катится по дороге за телегой. Раннее солнце кажется праздничным, словно на Светлый день. Идет мужик с вилами, рычит: «Ай закинуть купца на крышу?» – хочет меня пырнуть. Антипушка не даст: «К Преподобному мы, нельзя». Мужик говорит: «А-а-а... – глядит на нашу тележку и улыбается, – занятная-то какая!» Садится с нами и угощает подсолнушками.

– Та-ак... к Преподобному идете... та-ак.

Мне нравится и мужик, и глиняный рукомоийник на крылечке, стукнувший меня по лбу, когда я умывался, и занавоженный двор, и запах, и колесо колодца, и все, что здесь. Я думаю – вот немножко бы здесь пожить.

Поджидаем Горкина, ему растирают ногу. Нога совсем хорошая у него, ни сининки, но Домна Панферовна хочет загнать кровь дальше, а то воротится. Прямо – чудо с его ногой. На масленице тоже нога зашлась, за доктором посылали, и пиявки черную кровь сосали, а больше недели провалялся. А тут – призрел Господь ради святой дороги, будто рукой сняло. В благодарение Горкин только кипяточку выпил с сухариком, а чай отложил до отговенья, если Господь сподобит. И мы тоже отказались, из уважения: как-то неловко

пить. Да и какие теперь чай! Приготовляться надо, святые места пойдут. Братовщину пройдем – пять верст, половина пути до Троицы. А за Талицами – пещерки, где разбойники стан держали, а потом просветилось место. А там – Хотьково, родители Преподобного там, под спудом. А там и гора Поклонная, называется – «у Креста». В ясный день Троицу оттуда видно: стоит над борами колокольня, как розовая свеча пасхальная, и на ней огонечек – крестик. И Антипушка говорит – надо уж потерпеть, какие уж тут чай. В египетской-то пустыне – Федя сказывал – старцы и воды никогда не пьют, а только росинки лжут.

Приходит Федя, говорит – церковь ходил глядеть и там шиповнику наломал – и дает нам с Анютой по кустику: «Будто от плащаницы пахнет, священными ароматами!» Видал лохматого старика, и на нем железная цепь, собачья, а на цепи замки замкнуты, идет – гремит; а под мышкой у него кирпич. Может, святой-юродивый, для плоти страдания. Мужик говорит, что всякие тут проходят, есть и святые, попадают. Один в трактире разувался, себя показывал, – на страшных гвоздях ходит, для страдания, ноги в кровь. Ну, давали ему из благочестия, а он трактирщика и обокрал, ночевавши. Антипушка и говорит про Федю:

– Тоже спасается, ноги набил – и не разувается.

Мужик и спрашивает Федю, чего это у него на глазу, кровь, никак? Антипушка поднял с него картуз, а в картузе-то шиповник, натуго! И на лбу исцарапано. Федя засты-

дился и стал говорить, что для ароматов наклеил да забыл. А это он нарочно. Рассказывал нам вчера, как святой на колючках молился, чтобы не спать. Мужик и говорит: «Ишь ты, какой бесчувственный!» Я сую веточку под картузик и жму до боли. Пробует и Аня тоже. Мужик смеется и говорит: – Пойдемте навоз возить, будет вам тела пострадание! Мы все смеемся, и Федя тоже.

Куда ни гляди – все рожь, – нынче хлеба богатые. Рожь высокая, ничего-то за ней не видно. Федя сажает меня на плечи, и за светло-зеленой гладью вижу я синий бор, далекий... – кажется, не дойти. Рожь расстилается волнами, льется, – больно глазам от блеска. Качаются синие боры, жаворонок журчит, спать хочется.

Через слипшиеся ресницы вижу – туманятся синие боры, льется-мерцает поле, прыгает там Аня... Горкин кричит: «Клади в тележку, совсем вареный... спать клопы не дали!...» Пахнет травой, качает, шуршит по колесам рожь, хлещет хвостом Кривая, стегает по передку – стёг, стёг... Я плыву на волнистом поле, к синим борам, куда-то.

– Ко кресту-то сворачивай, под березу!

Я поднимаю голову: темной стеною бор. Светлый лужок, в ромашках. Сидят богомолцы кучкой, едят ситный. Под старой березой – крест. Большая дорога, белая. В жарком солнце скрипят воза, везут желтые бочки, с хрустом, – как будто сахар. К небу лицом лежат мужики на бочках, раскинув но-

ги. Солнце палит огнем. От скрипа-хруста кажется еще жарче. Парит, шея у меня вся мокрая. Висят неподвижно мушки над головой, в березе. Федя поит меня из чайника. Жесть нагрелась, вода невкусная. Говорят – потерпи маленько, скоро святой колодец, студеная там вода, как лед, – за Талицами, в овраге. Прыгает ко мне Анюта, со страшными глазами, шепчет: «Человека зарезали, ей-богу!..» Я кричу Горкину. Он сидит у креста, разувшись, глядит на свою ногу. Я кричу – зачем зарезали человека?! И Анюта кричит: «Зарезали человека, щепетильщика!» Я не понимаю – какого «щепетильщика»? Горкин говорит:

– Чего, дурачок, кричишь?.. Никого не зарезали, а это крестик... Может, и помер кто. Всегда по дорогам крестики, где была какая кончина.

Анюта крестится и кричит, что верно, зарезали человека – щепетильщика!

– Бабушка знает... в лавочку заходили квасок пить! Зарезали щепетильщика... вот ей-богу!..

Горкин сердится. Какого такого щепетильщика? С жары сбесилась? К ней пристают Антипушка и Федя, а она все свое: зарезали щепетильщика! Подходит Домна Панферовна, еле передыхает, вся мокрая. Рассказывает, что зашли в Братовщине в лавочку кваску попить, вся душа истомилась, дышать нечем... а там прохожий и говорит – зарезали человека-щепетильщика, с коробами-то ходят, крестиками, иголками вот торгуют, пуговками...



Впереди деревушка будет, Кашеевка, глухое место... будто вчера зарезали паренька, в кустах лежит, и мухи всего обсели... такая страсть!..

– Почитай каждый день кого-нибудь да зарежут, говорит. Опасайтесь...

– Во-он что-о... – тихо говорит Горкин и крестится. – Царство ему небесное.

Всем делается страшно. Богомольцы толпятся, ахают, поглядывают туда, вперед. Говорят, что теперь опасные все места, мосточки пойдут, овражки... один лучше и не ходи. А Кашеевка эта уж известная, воровская. Вот и тут кого-то убивали, крестик стоит – ох, Господи! А за Талицами сейчас кресто-ов!.. Чуть поглуше где – крестик стоит.

Я хочу ближе к Горкину. Сажусь под крестик, жметя ко мне Анята, в глаза глядит. Шепчет: «И нас зарежут, как щепильщика...» Крестик совсем гнилой, в крапинках желтой плесени. Что тут было – никто не знает. Береза, может, видала, да не скажет. Федя говорит – давайте споем молитву, за упокой. И начинает, а мы за ним. На душе делается легче. Подходит старик с косой, слушает, как хорошо поем «Со святыми упокой». Горкин спрашивает, почему крестик, не убили ли тут кого.

– Никого не убивали, – говорит старик, – а купец помер своею смертью, ехал из Александрова, стал закусывать под березой... ну, его ихватило, переел-перепил. Ну, сын его увез потом домой, а для памяти тут крест поставил, на помин

души нам выдал... я тогда парнем был. Хорошо помянули. У нас этого не заведёно, чтобы убивать. За Талицами... ну, там случается. Там один не ходи... А у нас этого не заведёно, у нас тихо.

Все мы рады, что не зарезали, и кругом стало весело. И крестик, и береза повеселели будто.

– Там овражки пойдут, – говорит старик, – гляди и гляди. И лошадку могут отнять, и... Вы уж не отбивайтесь от дружки-то, поглядывайте.

И опять нам всем страшно.

Сильно парит, а только десятый час. За Талицами – овраг глубокий. Мы съезжаем – и сразу делается свежо и сумрачно. По той стороне оврага – старая березовая роща, кричат грачи. Место совсем глухое. Стоит, под шатром с крестиком, колодец. В горе – пещерки.

Лежат у колодца богомольцы, говорят нам: повел монах народ под землю, маленько погодите, лошадку попоите. Федя глядит в колодец – дна, говорит, не видно. Спускает на колесе ведро. Колесо долго вертится. Долго дрожит веревка, вытягивает ведро. От ведра веет холодом. Вода – как слеза, студеная, больно пить. Говорят – подземельная тут река, во льду; бывает, что и льдышки вытягивают, а кому счастье – серебряные рубли находят, старинные. Тут разбойники клад держали, а потом просветилось место, какой-то монах их вывел.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.